



От руки, как от сердца...
Иоланта Сержантова

Иоланта Ариковна Сержантова

От руки, как от сердца...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69214642

SelfPub; 2023

ISBN 978-5-00207-256-9

Аннотация

Сборник рассказов, новелл и эссе о героях нашей Родины, которые не задумываются о героизме, и об обитателях природы нашей Родины. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно.

Содержание

В моё время...	6
Тень	8
Начало весны	10
Боб Лесли	12
Слепой снег	19
Солидарность	21
Идёт весна...	24
Не у всех...	26
Родительский день	28
Без слов	31
Капельник	34
Своя дорога	36
Как мы наживаем себе врагов	38
Зяблики	42
...Не знает никто	44
Одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год	46
Всё будет хорошо...	51
Капли дождя...	53
В иные времена	55
Что главное в... цветке	57
Третий глаз	61
Это нравилось нам...	63
В самом деле	66

В тумане	68
Горшочек с мёдом	70
Шмель за щёки цветок целовать притянул...	73
День театра	75
Косохлёт	78
Своими словами	80
Всё же весна	82
Когда как...	84
Своим чередом	88
Стоит оно того...	90
Не всякому...	92
Как и всегда...	94
Лазарева суббота	96
Одна-единственная...	98
Растрата	101
День плетения из солнечных лучей	103
Так отцу и скажу...	105
Интерес	109
Маленькими глотками...	112
Бабская любовь	114
С утра до вечера	116
Илья	118
Москва у каждого своя...	121
Земля	124
Дорожное	126
Про то...	132

Слон	134
До следующего раза...	137
Неизбывное	139
Летучая мышь	143
Ходики	145
Судьбе в угоду	148
Некстати	150
Хитро...	152
Маца...	154

Иоланта Сержантова

От руки, как от сердца...

В моё время...

– Ну, что же вы! Это делается совершенно не так, иначе... лучше! В моё время этим же самым мог заниматься не абы кто, но особенные люди, с традициями и чувством, что подчас, куда важнее опытности. Это талант и он приходит свыше. Наблюдать за их работой было особым удовольствием...

– Да кануло давно в Лету то, что было лучшим для вас, теперь всё по-другому. Вы своего вкусили сполна, теперь наш черёд. Пойдите в сторонку, покуда ещё можете.

– Чего это?

– Пока стоять силы есть, говорю я вам!!!

Какое, однако, нехорошее, мрачное, по сути, сочетание слов – «в моё время». Это ли не, свершившееся промежду строк понимание того, что «твоеё» ушло, минуло незаметно, а ты уже сам – отчасти принадлежность своего времени, как прошлого?! Коли б то было иначе, щегольское «и мы там бывали», либо «плавали, знаем», не пугало бы свою откровенной безнадежностью.

И не потому ли, восстав ото сна, глядя на яркое серо-голубое небо в кованной, платиновой от инея раме ветвей, оно кажется не сулящим надежду и волнующим, как бывало прежде, но торжественным и немного зловещим, вещим, нагоняющим тоску, торжествующим при виде открытой, вещественной беспомощности людей. Преднамеренный восторг отстранённости, предначертанная его тщетность, ускользает от внимания небосвода. Ибо он сам, понимая зыбкость собственного своего положения, не вовсе уверен во всемогуществе. Ведь и над ним есть то... ТОТ, кого не только опасаться или повиноваться кому, но надобно иметь в виду при каждом волнении вдоха, а страшиться – не из почтения даже к нему, но к себе.

Тем, у кого много себя самих, которые смотрят на мир через собственный долгогранник¹ понимания вещей, оказываются, в самом деле, куда как больше предусмотренного для их личности пространства... Им не сумеречно в нём, а ежели и делается немного тесно когда, они раздвигают его пределы или отстраняются сами, – глубже и дальше ото всего, что окружает их.

– Вы ещё здесь?

– Да вы занимайтесь, занимайтесь, я вам не помешаю, я постою... пока... тут.

¹ призма, трёхгранник

Тень

Подгоняема светом лунного луча, тень неотступно бежала следом. За кем? А ей всегда всё равно. Чаще всего она старается держаться чуть сбоку, позади того, от кого не отступает ни на шаг, а если вдруг выходит чуть обогнать, выйти вперёд неосторожно, то пугается, тщится поскорее растаять, становясь скучной, длинной, недолго млеет, после чего растекается по земле ручьём.

Бывало, днём, в самой его середине, солнце, вознамерившись изловить-таки, наконец, ускользающую беглянку, возжигает все, какие имеются свечи, и в такую минуту тень непременно исчезает и ждёт затаясь, не смея дышать, в щели между тем, подле чего застали её и землёю. Впрочем, укромное место заметно тяготит тень, а от тесноты она мрачнеет ещё больше, и полная желаний вырваться, вздохнуть полной грудью, куда как сильнее её опасений. А посему, – стоит солнышку чуть ослабить внимание, отвлечься на что-то менее капризное, как тень выглядывает осторожно и понемногу располагается на прежнем месте, делаясь всё больше и больше. Иначе она не умеет.

Тень всякий раз находится не одна, но при ком-то, и ей страшно даже представить – что было бы с нею, останься она

в совершенном одиночестве. Изю всех занятий, коими увлечена тень, главное – подражание, следование чьим-либо образцам в поступках, в поступи по жизни.

Прижав нижнюю губу острыми верхними зубками, тень со щанием и усердием копирует очертания того, кого сопровождает в сей момент. И если бы нашёлся некто, кто однажды сумел бы остановить тень, отвести под руку в сторонку и спросить тихонько на ушко, знает ли, какова она сама, без никого. Что, кроме растерянности и смущения было б ему ответом? И ведь это если она ещё случится, та неловкость, то замешательство!

Быть может, кому-то спокойнее находиться в тени. Да только вот, как узнать, кто ты таков, пока не сделаешь хотя маленький, свой собственный, не похожий больше ни на чей шаг? Ну, а уж после, несколько побыв на виду, утомившись щурится в сторону, либо когда поймёшь, что никто не щурится на тебя, – тогда уж можно и в холодок.

Но в самом деле, быть чьей-то тенью – не самое дурное занятие, надо только уметь выбрать правильный предмет, и тогда, наверное ... всё будет хорошо.

Начало весны

Кружат последние мартовские снежинки, мешают первым неловким полётам мошек и комаров. Перезимовавшие синицы, не обращая внимания на лёгкий мороз, растягивают меха дыхания, будто гармонь, греют горлышко, настраивают его струны перед свадебными песнопениями. Сидя на заштопанной пятке поизносившегося за зиму гнезда, вОроны неодобрительно косятся в их сторону:

– Не рановато ли подняли весь этот шум?

На что синицы, им в ответ:

– Куда там! Во благовремение! Всего один солнечный день, много – два, и от зимы не останется ни единого следа, кроме разве что отутюженных сугробами полян.

– И то верно. – Охотно, с видимым удовольствием соглашались вОроны, ибо уже и им сполна досадили холода. И прохлады хотелось не во всякое время, а как вздумается самим.

Покончив дело с синицами, вОроны перевели взор на кабана. Тот, сибарит и вообще – ценитель прекрасного, любитель роскоши, близоруко щурясь и брезгливо поводя крупным породистым носом с широкими ноздрями, по обыкновению обнюхивал округу. Все закоулочки, которые, так казалось ему, имеют дурной аромат, он усердно сбрызгивал

своими духами. В самой чаше, посреди зарослей, свободной от неожиданных гостей и сторонних взглядов, поговаривали, что кабан рассказывает, будто бы те духи привезены с райских полей², но куда как больше походят на тяжёлое густое, труднопереносимое аравийское благоухание.

Обитатели леса, как водится, дабы уважить громоздкого соседа, хотя и морщатся от едкого запаха его духов, но прощают ему эту маленькую слабость. Кабан, пусть и манерен, но уживчив, и одно его молчаливое многозначительное появление вблизи спорщиков или ссорящихся, моментально мирит их. Как не потрафить такому-то важному господину!

Лес громко оттаивает в тишине. Ночник луны, окутанный шалью облака, не беспокоит своим светом никого, но и не мешает разглядеть, как дуб оттягивает связанные зимой шарф сугроба от горла. Теперь он скорее помеха, не то, что в мороз! Ну и, ясное дело, – куда не ступи, наст скрипит под ногами, будто нагими некрашеными половицами.

Начало марта. Начало весны.

² елисейские поля – греческая мифология

Боб Лесли

В 1974 году в Нью-Йорке вышла книга Роберта Франклина Лесли «Медведи и я»³, но в переводе на русский язык она была прочитана мной только через тринадцать лет⁴. Позади был собственный опыт общения и дружбы с медведем⁵, а посему семена сострадания к нашим меньшим старшим (!) братьям попали на давно подготовленную почву.

Мной было пролито немало слёз над этой книгой о медведях. Зачитанная до вопиющей ветхости и неумело склеенная, она стояла на самом видном месте, окружённая аккуратными томами справочников и энциклопедий. При одном лишь взгляде в сторону книги, глаза наполнялись влагой, а сердце – неподдельной, осязаемой, нешуточной болью из-за невозможности восстановить справедливость, повернуть вспять время и желания обрести, наконец, человечеству полную меру сочувствия, утерянного по дороге к своему трону призрачного всемогущества.

Годы спустя, разговорившись с одним из близких друзей

³ Robert Franklin Leslie «The Bears and I» Ballantine Books, New York, 1974

⁴ Ленинград : Гидрометеиздат, 1987

⁵ Рассказ «Жалость» #Природа, #Родина, #Литература, #Любовь:рассказы, притчи, новеллы, эссе/И. Сержантова. – Саратов: Амирит, 2021. – 152 с. ISBN 978-5-00140-776-8

о книгах, я поведал ему о своей симпатии к автору книги, Роберту Лесли.

– К Бобу?! – Воскликнул мой друг.

– Почему к Бобу? – Удивился я. – Его зовут Роберт. Роберт Франклин Лесли.

– Да, я понял! Так его зовут близкие. Только книга вышла не в семьдесят четвёртом, а в шестьдесят восьмом.

– Не может быть, чтобы я ошибся, я столько раз плакал над ней, что знаю почти наизусть!

– Вот, гляди сюда! – Сказал друг, снимая с полки книгу. – Боб сам дал мне её. Видишь, что тут написано?! «E.P. Dutton & CO., New York 1968» Первое издание!

– Да.... действительно... У меня не такая. Поменьше, что ли...

– О... если бы мы встретились с тобой немного раньше, я бы познакомил вас. Боб был отличным парнем, вы бы обязательно стали друзьями, но увы, его уже нет в живых.

– Расскажи мне о нём... – Попросил я, и после того, как друг поведал мне о Роберте, могу сказать совершенно определённо, что Боб, мой обожаемый Роберт Лесли был и вправду замечательным человеком.

Слушая рассказ друга, я живо представлял себе, как Боб принимает нас у себя, в просторном для них с женой доми-

ке под коричневой крышей и маленьким задним двором, заросшим сорняками и деревьями, зажатый между двумя соседними домами на улице с забавным названием «Цо».

Впуская нас, Боб хохотнул, не прислали ли нас соседи, дабы выяснить не мертвы ли они уже неделю. Преисполненный ласковой жалостью, он подтрунивает над Леа, подругой жизни, с которой они прожили уже, страшно сказать, больше пятидесяти лет. Запущенный дом и неухоженный до состояния НижнейСлобовии⁶ двор – это не самое страшное в жизни. Из-за болезни жены ему приходится справляться с хозяйством одному, и у него это выходит чертовски плохо.

– Зато я отъявленный кулинар! – Не унывает Боб. – Среди моих наиболее монументальных достижений – соус из кетчупа, лимонного сока и чеснока. Не вижу причин не смешивать их, чтобы сэкономить немного самого драгоценного продукта – времени. Мое печенье вполне можно продавать рыбакам в качестве грузила. Мой чили-кон-карне⁷ отправил четырех друзей-мексиканцев в больницу. Я ожидал, что после этого меня арестуют за оскорбление привилегированно-

⁶ Нижняя Слобовия (также иногда называемая Внешней, Внутренней, центральной, Верхней или Низшей Слобовией) – это термин, используемый в разговоре для обозначения места, которое является слаборазвитым, социально отсталым, отдаленным, бедным или непросвещенным. Впервые введенный в обиход Элом Каппом (1909-1979), этот термин также использовался американцами для неофициального обозначения любой иностранной страны, не имеющей особого значения.

⁷ традиционное блюдо юго-западной Америки и Мексики с острым перцем чили и мясом

го меньшинства, но нет, к счастью, всё обошлось.

– Кстати, вы, ребята, удачно зашли! – Бодро заявляет Боб. – Мы с Леа на днях уезжаем в Европу, недели на три, не меньше. Жена хочет хотя бы ещё раз увидеть брата, а у меня планы посерьёзнее. Я определённо намереваюсь отправиться в Египет. Всю свою жизнь я хотел сыграть Лоуренса Аравийского и разъезжать на верблюде мимо пирамид. Теперь у меня будет шанс исполнить свою мечту. Может, даже подниму бокал за Сократа на ступенях Парфенона в Афинах... В общем – там будет видно! Правда? – Добавляет он, обращаясь к жене, а та отвечает ему доверчивой, детской улыбкой и согласно кивает в ответ.

– Я пытаюсь держать оборону, поскольку она не хочет идти в один из этих ужасных домов престарелых в Уринвилле: и я ее не виню. Когда мне хочется кричать, чтобы не быть грубым, я хватаюсь за пылесос и драю этот проклятый ковер, как палубу, но к моему ужасу наутро вся пыль оказывается на своих местах. – Шепчет Боб так, чтобы не слышала Леа и улыбается в её сторону.

Он не был способен сдать её в дом престарелых, как ненужную больше, сломанную вещь. Много лет тому назад Боб нянчился с медвежатами, как с маленькими детьми, так могли он теперь поручить заботу о своей потерявшей память жене, любимой женщине кому-то чужому? Конечно, нет! Иначе... каким бы он был человеком?

...На моей книжной полке, рядом с потрёпанным зачитанным томиком «Медведи и я», стоит то самое первое издание 1968 года «The Bears and I».

– Держи. Тебе нужнее. – Сказал друг, вручая книгу на прощание. – Боб подарил мне последнюю. Она напиталась запахом его дома, его жизни, несчастий, свалившихся на их семью, покрылась пылью, с которой он так неумело сражался и одиночеством, уготованным ему напоследок.

Я хотел было тут же пролистать подарок, но друг остановил меня:

– Успеешь. Давай посмотрим друг на друга и помолчим. Кто знает, доведётся ли ещё увидеться когда.

Книгу я открыл уже дома. Между страницами был заложен листок с отпечатанным на машинке письмом Роберта Франклина Лесли, подписанным его рукой. Там было только три буквы, от его имени: «Боб», но столько в них было... всего.

Вестник Весны

Тёмная от воды синица едва дождалась первой проталины, которую уже к вечеру заштопают ветер и мороз. И теперь же она с совершенно счастливым видом хрустит, как карамелью, мелкими льдинками, выкусывая их из перьев, и

улыбается так неопределённо и загадочно, словно бы вышла только что распаренная после баньки, а после окунулась в прорубь, дабы немного остыть.

Несмотря на мороз за окном и озябшие кисти ветвей, что находясь в нетерпеливом ожидании отстукивают некий ритм по столу небес, как поверх крышки рояля, на стекло взбирается златоглазка⁸ – тонкая, прозрачная почти, как юная балерина. Она могла бы не трудиться и пролететь это небольшое, в общем, расстояние, но, судя по тому как златоглазка двигается, каждый поворот и всякий шаг доставляют ей неизъяснимое удовольствие, в котором бывает так трудно отказать себе иногда.

Идёт нежная сия малышка неспешно, спинку держит прямо, умненькие золотистые глазки, в свете робких, ломких ещё соломин солнечных лучей, выказывают интерес и любопытство ко всему.

Чтобы понять наступление весны, кто-то глядит в календарь, а кто-то в окошко. Одни дожидаются притворных рыданий сосуллек, иных весна настагает на берегу ручья талой воды, для прочих – именно златоглазка – вестник весны, и

⁸ Neuroptera – семейство насекомых отряда сетчатокрылых. Глаза выпуклые, золотисто-блестящие, размах крыльев до 4 см. Ок. 800 видов. Распространены широко (кроме Нов. Зеландии). Обычны обыкновенная и простая златоглазки. Личинки истребляют тлей и червецов.

теперь уже точно – она здесь.

Внесены почти все её сундуки и узлы, а вскоре привезут последний багаж, вынут двойные рамы, снимут пыльную, пахнущую сыростью дерюгу с мебели в холодных комнатах. Дел предстоит невпроворот.

Округа тоже занята. Она убирает на антресоли небес свой овчинный тулуп с белым воротником сугробов, туда же отправляет и шапку, и снежные варежки, и шарф, а вместо него достаёт тонкую косынку ломкого наста, сквозь который проглядывает неубранная земля со свалявшимися кудрями трав. Ну и что ж! Поправится всё, – и причёска, и наряд. Покуда же, не стесняясь никого, земля подставляет бледное ещё лицо солнышку и прикрывает глаза. Сквозь ресницы она присматривает за златоглазкой! А та... всё ещё шагает по оконному стеклу.

Слепой снег

Хотя солнце и проснулось довольно поздно, встать оно не торопилось. Из-под одеяла горизонта сперва показалась его макушка, потом – два весёлых янтарных, как у кота, глаза. Наскоро блеснув ими по сторонам, солнце прилично зевнуло и широко потянулось загорелыми руками лучей, раздвинув подушки облаков, да так, что они вовсе свалились с кровати земли.

Солнце улыбалось простору беззаботно. Так улыбаются рождённые вновь люди старому миру, который предстоит познать, дабы после примириться с его устройством или побороть. Не навечно, впрочем, на один только раз.

Для своего пробуждения солнце выбрало именно этот день не случайно. Оно долго дождалось, покуда небо нарядится, наконец, в шёлковый голубой сарафан, что так шёл к его глазам. Только вот, пожить-таки, наконец, красиво, в красоте, желалось не одному лишь светилу. Свои права на нынешний день заявил и снег, коему находиться тут было не след, но невзирая на то... он был!

Слепой снег – это вам не сослепу дождь. Сперва небо казалось словно бы в мелкий горох, но с каждой минутой сне-

жинки делались всё крупнее и отчётливее, пока не принялись порхать, ровно большие белые пушистые птицы, отчего снега становилось всё больше, а неба – всё меньше.

Солнце в этот день отправилось спать раньше, чем привыкло. Не имелось смысла дожидаться у окна просвета, ибо ночь была куда как менее сговорчивой, нежели день, а сослепу топтался у её порога снег или зрячим, – ей было всё одно. Всяк, входящий под её сень, получал свой укромный уголок, в котором можно было переждать и подремать до утра.

Слепой снег... Придумают же такое – слепой снег...

Солидарность

Некая юная барышня, эдакая эмансипэ и своевольница, в первый день второй недели марта пришла к своей тётушке, дабы поздравить её. С чем? Ну, конечно же с Международным женским днём!

– С днём женской солидарности, тётя! – Сурово сообщила племянница, и сунула тёте в руки букетик, осыпав пышный её бюст горошинами мимоз.

Тётя приняла цветы и притворно насупилась:

– Эх... сплошные расходы. Знала бы я, что ты принесёшь мимозы, я бы не тратилась на салат.

– О чём вы, тётя?! – Всполошилась девушка. – Как вы себя чувствуете? Вы помните, какое сегодня число?

– Конечно, помню! Уж не решила ли ты, что я сошла с ума? Мне вздумалось пошутить, но вы, молодые, так плохо образованы...

– Да что же смешного сказали вы? Я не понимаю...

– То-то и оно. – Вздохнула женщина. – Мимозу с некоторых пор понизили в звании и теперь она относится к семейству бобовых⁹, а я к твоему приходу сделала салат из фасоли и орехов...

⁹ семейство бобовых (Fabaceae); Род: Mimosa

Девушка немного смутилась, и дабы не лишиться единственной своей гостью, тётя поскорее перевела разговор на другую тему:

– Так с чем мы нынче солидарны?

– Со всем!

– А не феминистка ли ты, моя дорогая?!

– Ну, даже если это и так, что тогда? – С вызовом воскликнула девушка.

– Да ничего особенного, конечно! Только, знаешь, в чём заключается настоящая женская солидарность?

– В том, чтобы бороться за наши права, права женщин! – Гордо воскликнула племянница, а тётя, лукаво усмехнувшись, покачала головой:

– Не совсем так. Я тебе сейчас расскажу...

...Солидарность, это когда соседка стучит в окошко своей захворавшей приятельнице, и спрашивает, не купить ли ей половинку чёрного и батон, так как «всё равно идёт в булочную», а простояв в очереди за рыбой час, пропускает перед собой соседку, что живёт над нею. Та направлялась после работы в детский сад, забрать сына, хорошего такого мальчугана. Он постоянно стучит пятками по полу, роняет игрушки, так и кажется, что это не ребёнок, а Буратино, столько шума от него, в любое время дня и ночи. Когда он спит, чудится, будто наступила весна, так делается хорошо, от того, что тихо. Попросить у соседки, полужнакомой женщины, соли, са-

хару или посидеть с ребёнком, пока ты сбегашь в аптеку, – вот она, солидарность!

Раньше, бывало, потеряет какой ребёнок ключ от квартиры, так до прихода матери с работы, соседи пригреют, накормят, не дадут пропасть! Ведь это прекрасно, когда уверен, что рядом люди, которым не всё равно, что с тобой. Впрочем, тогда уже и не важно, – мужчины то или женщины.

– Ой, тётя, вы такая странная... Да я не знаю, кто живёт в квартире напротив, а уж кто вверху или подо мной, тем более!

– Ну и напрасно. – Огорчилась старушка. – Ты вот возьми как-нибудь, напеки пирожков, пройди по подъезду, угости соседей. Может, так и познакомитесь, а то и подружитесь когда!..

Восьмое марта. Праздник. о котором много говорят, но в котором мало что понимают, даже те, в чью он честь и ради кого.

Идёт весна...

Густое от тумана утро с мокрыми пятнами оленей, кляксами троиц косуль и тёмными точками белок. Всякому об эту пору мнится, что он невидим, а от того невредим.

Светильник солнца под серым бра облаков надрывается тысячью миллиардов свечей со стены неба, и по этой причине день не столь мрачен от тумана, сколь таинственен, как паутина, что колышется на влажном сквозняке, идущем от земли поутру, и мерещится лёгкой косынкой, что накинута небрежно на розовую нежную шейку рассвета.

Ночами всё ещё довольно холодно, и сквозь чёрные сосновые ветки, сверкает лужей луна, а сосульки, что ещё в полдень звенели хрустальными колокольчиками, замолкают, замирают, словно в испуге, из-за того, что взятые при свете солнца ноты могли оказаться... показаться кому-то! – неверными, фальшивыми, ненастоящими, но стоящими того, чтобы к ним прислушаться с милой рассеянной улыбкой.

В самом же деле, ночь дана сосулькам для того, чтобы набраться им сил, как отваги, сыграть свою последнюю песнь достойно, до последней капли, что кинется однажды в объятия земли, не зная того, – долетит она, либо солнце вдохнёт

в неё новую жизнь прямо так, не дожидаясь конца.

– Что там теперь шумит? Талая вода?

– То весна идёт, шлепая по земле мокрыми босыми ногами капли...

Не у всех...

Солнце поднимало голову с подушки горизонта без охоты и удовольствия, скорее – следуя привычному ходу вещей. Коли ожидают от его сиятельства величия и алых шатров на пересечении земли с небом, – деваться некуда, дурацкое дело нехитрое, заглянет на часок, а уж после, скрыться с глаз долой, или оставаться на виду, – то уж его право.

Случается, часом, и часам встать, так не пеняет им за то никто, – дело житейское. Иные, конечно, исправны, поспевают за ходом времени, прочие нороят его обогнать или тянут за полу, просят погодить, но не бывает так, у любых из них, чтобы ни разу в жизни и не остановились передохнуть. Завод-то он у всех один, хотя пружинный, либо какой другой, а предел имеет завсегда.

Вот, к примеру, часто ли слышна песнь волка поутру? Так, чай, не до песен ему тогда, ибо не птица, по земле ступает, не все-то тропки усыпаны мягкими сосновыми иголками, бывает когда и споткнётся он о камешек, оступится в ямку, да носом-то прямо в бугорок, так почти что на каждом его шагу – помеха.

А солнцу, ему-то чего манерничать, прихотливость свою чрезмерную выказывать почто? Кто ему там, наверху-то,

слово поперёк скажет?! На него и смотрят лишь токмо снизу вверх, и никак иначе. Уважа-а-ют... Льстят. Ластятся. Во всякий час всяк ему рад: окошки растворяют, двери... Да что двери с окошками, – душу открывают нараспашку солнышку, особенно после тягомотины зимней. Так, бывает, распустят широко ворот, расслабят поясок и жмурятся, улыбаясь кверху, позабывши, как всего неделю назад тому точно так щерились на поляну, бескрайнему на ней сугробу, и дивясь сиплому звуку собственных по насту шагов, вспоминают себя ребёнком, да как катал на санках отец, с весёлой натугой, и скрипел снегом нарочно, словно мальчишка.

А и есть ли у солнца ровная тому радость? То – навряд. Что ни день – вспышки у него, да всполохи, вечный праздник, а чего-то такого тихого, светлого, от которого на сердце тепло... Откуда ему взяться? Да и сердце... не у всех оно есть. Не у всех.

Родительский день

Затуманившийся бесконечными тусклыми облаками день, омрачённое пасмурем его чело, в заботах о грядущем, позабыло о надобности уважить и скоротекущее мимо нынче. А оно-таки куксилось без должной заботы, и во всё время ожидания было занято чем-то, что теперь казалось совершенно неинтересным и неважным, но по прошествии времени обратит на себя внимание и заставит сокрушаться об себе.

Среди прочего, что принудит ко в пустой след печали, – остатки раскатанного скалкой оттепели теста сугробов, что чудятся издали белой, заснеженной сушью. Совсем скоро прижав её к сердцу, земля нежно вздохнёт, так что останутся от неё, пенкой на губах, едва заметные очертания, будто бы обведённые мелом. Для памяти – где что было. Хотя, к чему? Округа запомнит всё сама, и повторит не раз, коли придётся, – немного не так, заметно едва, но всё же.

Во дворе, на противоположных берегах глубокой лужи между двумя домами, стояли, озираясь вокруг, два приятеля. Они только что вернулись с погоста, где поминали своих усопших родителей. Навестив таким образом родных, молодые люди чувствовали удовольствие о сделанном, но смешанное со скорбью, оно создавало неприятный осадок, оста-

ваться с которым наедине каждому из приятелей было не по себе. А посему, они топтались, рассматривая проталины во льду, по мерке уснувших осенью веток и цветов, сравнивая их с брошами, обронёнными зимой впопыхах из разбухшего от влаги деревянного сундучка.

– Не из короба, а именно из сундука? – Уточнил один приятель у другого.

– Из него. – Кивнул тот.

– Так это тогда иначе зовётся – укладкой, что как бы вольный ящик с крышкою на навесках, а коли для зимы, – он с оковами из мха и окладом лишайника.

– Вольный ящик? Так ты его именовал?

– Ну, да.

– Отчего ж это он вольным сделался? – Неловко, пугаясь даже своего неуместного веселья, смеётся приятель.

– Да захочешь – в горницу его поставь, можно и в переднюю, а коли нужда заставит – сложи туда весь скарб, на телегу и в путь. Сундук – это исконная, коренная русская утварь, делается из берёзы, либо ясеня...

– Ну, какой ещё ей быть, не из сандала же.

– Не, из сандала, нет. Он есть красный, жёлтый, чёрный и синий, таковой у нас больше на краску идёт, яйца на Пасху им красим.

– Известное дело, что красим. – Вздыхает приятель и отворачивается, чтобы скрыть текущие из глаз слёзы, ибо при-

поминается ему вдруг во всех подробностях тот день, когда из рук отца получил своё первое крашенное яичко.

Однако же, надежда на нескорое покуда разговление и последующие праздничные дни после Великого поста, невольно сменили впечатление приятелей о нынешнем дне, так что он перестал казаться им унылым и беспросветным, а скользкие его от слякоти щёки представились покрытыми лаком или даже сахарной глазурью, вместо стылой гущи растаявшей грязи.

– А что, хорош нынче денёк-то?!– Ожидая согласия, испросил один приятель другого, в конце концов.

– Не дурнее прочих. – Охотно подтвердил тот, и подкрепляя свои слова, слегка склонился навстречу товарищу, отчего поскользнулся на ровном месте, едва не упал, но взамен досады улыбнулся – широко, радостно, будто ему только что посулили пряник, а не вымазанную из-за непогоды одежду.

Солнце, что до того часу медлило выходить, приотворило окошко своей опочивальни, из-за чего сделался сквозняк, и покров брэнности, кой тянулся за приятелями от самого погоста, рассеялся весенним ветром в клочья. А до поры или вовсе, – кому про то знать, как не вам.

Без слов

– Опять без варежек? Ты только погляди, все руки в цыпках! Это никуда не годится! Неужели не стыдно ходить с такими-то руками?! – Сердится мать. Чаще всего я молча сношу её недовольство, но иногда на меня находит, и, как теперь, начинаю возражать:

– Так чего стыдиться, если я держу руки в карманах. Кто их там увидит!

Мать багровеет от ярости, и разрывая нитки карманов, вытаскивает мои занозистые ладошки, дабы густо смазать их глицерином. А посылая меня в угол, требует вдогонку:

– Подумай о своём поведении!

Она уходит в кухню, готовит ужин и громко поёт, а я стою, прижавшись лицом к штукатурке, что скоро намокает от моих слёз, и принимается пахнуть мелом, купоросом, да ещё чем-то сладким.

Запахи.... Помимо всего прочего, детство наполнено ими сполна.

Пылью пахли капли дождя, что стекали по плащ палатке деда на пол ручьём; приторно, с вызывающей оскмину кислоткой – помадка, спрятанная в стенном шкафу бабушки;

и немного едко – вакса, что без труда и капризов прерывала утренний сон. В любое время дня или ввечеру её растирали по чистым просохшим ботинкам, – с полуулыбкой, заметным удовольствием, даже некоторым, вполне ощутимым со стороны упоением.

То деды, с увлечением и страстью, полировали свою обувь..! Они устраивались на низкой скамеечке у входной двери или даже в коридоре, и принимались колдовать. Втирали маленькой ловкой щёткой ваксу в щёки ботинок. Сперва в один, потом в другой. Давали немного времени впитаться, а после яростно накидывались на ботинок сразу двумя большими щётками. С двух сторон: наискось, по бокам, с задника, и снова, и снова, и не зацепивши одной щёткой о другую ни разу.

И когда казалось уже, что всё, большего совершенства просто не может быть... Деды добывали с хитрой улыбкой некую бархОтку, мягкую тряпочку, которой доводили ботинки до зеркального блеска, всего в какую-то минуту.

Любому мальчишке, а может даже и девочке, глядя на солнечные зайчики, что прыгали к потолку с самых носков чищенной обуви, хотелось заполучить в собственное безраздельное владение маленькую щёточку, низкую скамеечку и небольшую баночку с ваксой. И только мать, как водится,

всякий раз портила дело:

– Папа! Да выставьте вы уже это безобразие, наконец, за порог! Нету силы терпеть! Пирог, и те скоро будут пахнуть вашим гуталином...

Как говорить – без слов...

Капельник

Кажется, едва минуло Крещение, а уже и Капельник¹⁰. Загороженный зимней ещё, промёрзшей едва ли не до корней дубравой рассвет, как отсвет костра на дорогу в ночи – яркок, вызывает к себе, заставляет остановиться, обернуться... Как любой рассвет, мимо которого никак не пройти. И не от того, что он какой-то особенный, но потому, что он вновь случился, этот рассвет.

Глядя на чёрную беззубую пропасть, коей чудится весенний лес, округе всякий раз не по себе. Она кукуется, дует губы, сердится. Ибо только что, – день, много – неделю тому назад, она была с головы до ног бела, иной её невольный, нечаянный изъян терялся среди причудливых складок сияющих юбок. Серые же глаза неба над меховым воротом сугробов смотрелись, подчас, интереснее тех – голубых и бездонных, от которых не отвести взора летней порой.

А нынче... Что оно такое, это теперь, коли повсюду обмётанные лихорадкой плесени нюни пригорков, как раз по обеим сторонам распутицы.

¹⁰ 13 марта, день святого Василия Исповедника, народное название дня – Капельник

– Хочу-у-у! – Гнусавит округа, и дабы уgomонить её, ветер баюкает её, как дитяти, дышит нежно на её горячий лоб, а тем же временем: то сдувает с дороги лужи, то разгоняет тучи по краям небосвода, и по всякую минуту трясёт погрешкой ветвей, скорее, заглушая капризы, нежели унимая их, чем, кажется, делает всё ещё только хуже.

Утомившись донельзя, ветер прячется от округи на сквозняке промежду сараями, и мороз, усмехнувшись сочувственно, берёт напоследок дело в свои руки. А ловок он или удачлив, кому какая печаль, если к утру округа уже довольна, прибрана, и ни причины для слёз, ни следа от них.

Окутанная прозрачной кисеею снега, округа вновь мнит себя прелестницей, а то, что жидкая грязь на тропинке едва подёрнута ледком, и в любую минуту может дать о себе знать, так то пустяки, – летом оно также случается, и не раз, что после хорошего ливня без галош не пройти...

Своя дорога

– Ой... гляди-кось, на стю-ю-день похоже!

– Не-а, ни разу! На заливное!

Середина марта. Два загулявших с намерением шалопая бредли без цели по берегу реки, угадывая «что там». Солнце накануне протёрло как следует зеркало льда от пыли инея, и потому можно было разглядеть речное дно даже на глубине. Лишь омут зиял чернотой ила, не допуская до своих скользких истин.

Вода подо льдом, в такт небыстрому течению, едва заметно вздыхала во сне, шевелила пальцами водорослей, словно перебирая клавиши рояля, и по-детски всхлипывала, – то ракушки изредка пускали мелкие пузыри со дна, как с нахмуренного из-за спешки вод лба. Добравшись до поверхности, пузыри толпились там, слипались, сливаясь в один. Набравшись от пучины важности, они подпирали тонкую, тающую слюду воды, пучились, выдувая ледяные купола, так что даже неувенчанными, явственно напоминали старинные русские пучины¹¹.

¹¹ старинные русские церковные купола

В тот же час, приподнявшись с трона горизонта, солнце добавило, наконец, красок округе, и заодно, наискось прочертив тонкую линию луча, тронуло нечаянный нерукотворный купол, тем водрузив над ним призрачное перекрестье, которое, зависнув на мгновение над рекой, поторопилось развеяться в мелкую золотую пыль.

И всё это на виду!!!

Как только озябшие повесы, загодя утомившиеся в уготованном им будущем, вновь обрели дар речи, то не решаясь-таки заговорить о пустом, о зряшном, молча отправились поскорее, куда шли. Да только теперь чудилось им любое прежнее каким-то не таким, не привычным и обрыдлым.

В слякоти, что прибило морозцем, грезилось тонкое льняное кружево, в скрипе сломленной ветром ветки – приотворённая грядущим дверь, либо сундук, кой хранил все тайны, да открывался не для всех.

Вот так и зашагали по своей жизни люди дальше, да сколь долго ни длился их путь, а солнце всё вставало поутру, дабы подпалить понарошку лучину самого высокого дуба в округе, ибо у каждого свои причуды и дорога у всякого своя.

Как мы наживаем себе врагов

- Там тебе письмо.
- Письмо?! От кого?!
- Не знаю. Из Америки.
- Да?! Это от Майка, он не писал уже пол года, не меньше.

Не слишком торопясь, я аккуратно открыла конверт и начала читать...

«Здравствуй, дорогая! Наконец, всё готово. Теперь у нас есть свой дом, в том месте, что тебе понравилось – совсем близко к океану. По утрам ты сможешь любоваться им или купаться, и гулять с собакой. Как только ты приедешь, мы непременно купим тебе щенка, и он вырастет в точно такую же, большую и добрую собаку, которой ты так восхищалась, ну, помнишь, в том фильме!

На работе тебя уже ждут. Я знаю, ты не мыслишь себя без своей науки, и хотя мне было бы приятнее знать, что ты всегда ждёшь моего возвращения дома, это будет нечестно, так как я увожу тебя с твоей Родины, далеко от твоей семьи, и одной моей любви, в качестве компенсации этого шага, будет совершенно недостаточно.

Хочу, чтобы ты знала – я встречал многих людей, но таких, как ты – больше нет. Я говорю это не только из-за чувств, которые испытываю. Документы уже готовы и совсем скоро мы встретимся. Твой Майк.»

К тому времени, как почтальон доставил это письмо, я была уже три дня, как замужем.

– Что там? – Спросил молодой супруг.

– Да... вот... – Обескураженная и растерянная, я поведала о содержании письма.

– Если хочешь поехать, мы можем развестись. – Спокойно предложил супруг.

– Ни за что! – Возмутилась я.

– Не горячись. Ты же мечтала...

– Но только до той поры, пока не встретила тебя.

Будущий муж стал действующим всего через месяц после первой встречи, а с Майком мы были знакомы десять лет, но... разве в этом дело?

Адрес американца был опубликован на одной из страниц журнала «Комсомольская жизнь» за 1982 год, который я листила от нечего делать, сидя в комитете комсомола Воронежского авиационного завода.

– Можно возьму? – Спросила я у ребят. – Хочу попрак-

тиковаться!

В ту пору я часто писала сама себе письма по-английски и решила, что если кто-то на той стороне планеты разберёт мою писанину, и сможет понять её правильно, то это будет неплохо для самоучки.

Ответ на первое письмо в США пришёл через два месяца. Кроме надушенного листочка, исписанного красивым почерком, в конверт была вложена карточка симпатичного парня, стопроцентного американца. Родившись на берегах Миссисипи и закончив там школу, он переехал в Толидо, штат Огайо. Майкл работал, учился, играл на гитаре в группе «The Stain»...

Как-то скоро сообразив, что письма идут слишком долго, для того, чтобы не ждать ответа по два месяца, мы нашли выход и стали писать друг другу каждый день, из-за чего создалась полная иллюзия тесного, изо дня в день общения. Мы делились своими мечтами и воспоминаниями, слали посылки и даже иногда перезванивались.... вплоть до декабря 1992 года. В конце июля следующего года я встретила будущего мужа... И вот, это письмо. Зачем оно было мне... теперь?!

– Майк!

– О!!! Это ты! Я так рад!

– Майк, погоди радоваться, я не приеду.

– Но почему?!

– Я замужем.

– Как?! Кто он? Американец?!

– Нет. Русский.

– Но почему?!

– Ты пропал без объяснений ещё в прошлом году!

– Да, это так, но... Я готовился! Я хотел сделать тебе сюрприз...

– Он удался.

Майк сдался не сразу, с завидным упорством он добивался взаимности ещё долгих пятнадцать лет, пока в 2008 году Майкл Мур не стал одной из многих правых рук сенатора США Джона Маккейна во время предвыборной гонки за кресло Президента. Майк и теперь – в первых рядах тех, кто всеми силами и способами выражает свою ненависть к России, мстит за несостоявшееся счастье с одной странной русской, которая выбрала в мужа не его.

Вот таким нелёгким, но честным способом мы наживаем себе врагов.

Зяблики

Опушённые облаками, кроны дубов казались огромным цветущим укропом, берёзы – одуванчиками, осины – чертополохом... В ожидании прихода настоящей весны, лес грустил не шутя. Сам не понимая того, он примерял образы не летние даже, но осени, будил её в себе заблаговременно, а дабы готовым быть, или ещё почему – было невдомёк никому.

Придавленная тяжестью снега, земля всё никак не решалась дать знать о себе, заверить, что жива. По сию пору ей чудился визг метели и удары хлыста, коим та управлялась не столь умело, сколь охотно. Земля таилась давно. Набранного в лёгкие воздуха ей вполне хватало зимой, покуда то ли спала, то ли находилась в забытии, но теперь, когда от неё уже не ждали, но требовали пробуждения, она не находила в себе смелости вздохнуть.

Казалось, земля ожидала намёка, что уже можно, пришла пора, либо, что лучше, – явного, верного знака, в котором ни за что не обмануться. Но среди тех, что случились, не отыскался пока тот самый, наделённый правом дать отмашку всему: буйному цветению, птичьим распевкам, брожению соков, умов и крови, – тому всеобщему, положенному с единого искомого часа, ибо потому, как все мазаны миррой од-

ной.

И когда стало чудится, что не быть больше земле прежней, и серая хмарь, овладевшая ею, теперь на веки вечные, навсегда, прилетели зяблики, и помахав крыльями в окошко, прошептали охрипшими с дороги голосами:

– Встречайте! Мы здесь!

Однако кончается в одночасье всё: и хорошее, и плохое, только бы набраться духу, дабы дождаться и увидеть, когда оно произойдёт.

...Не знает никто

Деревья взмахивают ветвями, будто крыльями. Набирают в них неба столько, сколь смогут, но вот взлететь – то никак, не их стезя. Впрочем, упорству им не занимать, и стараются они, сцепив зубы почек, до дурноты, почти до обморока. А когда кажется уже – всё, падут без сил, тут уж черёд угрюмиться небесам, и насылают они тучку немедля, чтобы брызнула дождиком в лицо деревьям, как живой водой, привела в чувство. Ну, а там – опять всё по новой: порывы, поползновения, усилия ветру в такт, а когда и вопреки.

Потрудившись на славу, деревья дают себе отдых. До листы и ея буйности и близко, и далеко, а покуда топорщатся из колчана крон побеги с заусеницами почек, словно стрелы, что по весне, себя позабыв, пускает страстно Амур во все стороны, из небытия в плодородие. И даже если кажется, что не вполне живы те побеги, по-стариковски сухи и ломки от того, но угадывается в них, всё же, затаённая глубоко упругость. Набравшись сил, расхрабрится она, да заявит об себе, и сумеет выстоять противу надрыва бытия. Перенесёт она всякие тяготы сама и иным поспособит: даст птице приют, под подолом укроет и зверя, и гада какого – в глубинах пещер промеж кореньев.

И не терзает дерево никого вопросом, зачем появилось

оно на свет, и не терзается тем само, но цепляется за жизнь, держится крепко пальцами корней за своё место в земле.

Липнет к горизонту ночь, сырая от долгого, длиною в день, дождя. Филин окликал вечернюю зарю, – постоять, поговорить, но та не обернулась, спешила спешиться, дабы подремать, и быть готовой, поспеть к утру, про которое, каково оно случится, пока не знает никто.

Одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год

Я пишу на доске домашнее задание. Мел осыпается, пачкающая рукав и полу пиджака...

– ...примеры номер... и две задачи... – Диктую я для тех, кто согнулся над дневником. Звонок с урока трещит, как точилка для карандашей, а через двери, распахнутые нетерпеливыми, дотошными учениками, врывается густой липкий запах жжёной пластмассы.

– Дымовуха! – Кричат из коридора, в ожидании паники или брани, но я совершенно спокоен. Беру с кафедры графин с водой и иду залить чадающую урну, затем подхожу к окну и распахиваю его, дабы от дыма не разболелась голова.

Шустрый школьник с прилипшей ко лбу чёлкой забегают на урок последним, будто бы в тронувшийся с места трамвай.

– Можно?! – С вызовом вопрошает он у меня, как у кондуктора.

– Ты до конечной или только на одну остановку? – Интересно я не без иронии.

Парнишка шаловлив, но неглуп, несомненно начитан, и находит, что сказать в ответ. Одноклассники смеются, я решаю ученику сесть за парту, и когда он проходит мимо моей кафедры, тихо шепчу:

– Пластиковая линейка подходит для уроков геометрии, а дымовуха из неё посредственная, поверь.

Парнишка вскидывает на меня удивлённые глаза, но я невозмутим. Пусть думает, что ему послышалось.

...Я хорошо помню Глинково – деревню, что находилась прямо напротив нашего военного городка, по воскресеньям это место источало рыночный, праздничный звон колоколов, а в прочее время оттуда сливали в речку краски и реактивы. В часовне размещался склад химических войск, а потому жители деревни ходили купаться и стирать немного выше по течению. В той же самой часовне хранились плёнки от кинофильмов, о чём я узнал от Серёжки Исаакова и Сашки Сухова, моих закадычных дружков. Ну и подбили они однажды – залезть в подпол часовни, проверить, правда ли это.

Отерев со щёк паутину, в подвальном сумраке, при свете трофейного фонаря, зажато в Сашкиной чумазой руке, разглядев на полу круглую жестяную банку, мы узнали её. Такую же приносили иногда в кабинет химии, ибо там был экран и маленький трескучий киноаппарат, которым крутили научные фильмы, озвученные противным, резиновым го-

лосом. На уроке биологии мы портили стянутую у матери луковицу и капали на неё йодом, чтобы полюбоваться клеточным ядром, а потом за тем же самым наблюдали на экране. Но, признаться, мы больше принюхивались к запаху горячей киноплёнки, чем следили за происходящим у доски. Потому-то неудивительно, что открыв жестянку, мы замерли от одного лишь вида эдакого немислимого сокровища, обладателем которого стали.

До того дня, дабы раздобыть горючее для дымовухи, мы караулили ночные стрельбы, и наблюдая за ними из-за забора, надеялись, что ветер подует в нашу сторону, и мы найдём парашютик белой осветительной ракеты.

А ещё прежде, я таскал фотоплёнку из семейного архива, ну, – пока отец не застучал, конечно. На обрывки плёнки мы с мальчишками обменивали даже гильзы! Да что там говорить, – мы спички-то не могли добыть так, запросто, а уж плёнку и подавно.

Сама дымовуха – это вам не просто обёрнутая газетой и обмотанная нитками трубочка. Плёнка предварительно проверялась нами «на горючесть и дымучесть». Да и кидать надо было не абы куда! Верхнюю часть требовалось поджечь, потушить и бросить туда, где обыкновенно прогуливаются девчонки, чтобы прослушать их смешной визг, чем обратить на себя особое внимание.

Но обычно-то у нас была плёнка в двадцать четыре или тридцать шесть кадров, а тут.... километры! Богатство! Золотой прииск, не иначе!

Начали отматывать, сколько смогли рассовали по карманам, остальное решили спрятать дома у Серёжки Исаакова, под лестницей, подле бочки с капустой. Сашка Сухов, которому хотелось, чтобы плёнку хранили в его подвале, сокрушался, что тот забит всяким домашним барахлом, по причине ремонта в квартире:

– Самое страшное дело – этот ремонт! – Яростно картавил Сашка, а на вопрос почему, охотно отвечал, – Родители злые, ругаются, комната пропахла краской и скипидаром, и это никак не закончится.

Наконец пристроив основную часть находки, мы раздобыли газет, состряпали несколько дымовух, но пока провозились со всем этим делом, наступили сумерки и кого-то из нас позвали домой ужинать, так что мы решили ещё разок запустить одну, напоследок, и уж тогда – по домам.

Недолго раздумывая или, скорее, не думая вовсе, Серёжка наспех скрутил дымовуху размером с четвертинку водки, зажёл её и с нею в руке побежал по дороге. Заметив, как сносимое ветром облако дыма неотвратимо надвигается на наш

военный городок, я закричал: «Дурак что ты делаешь!!!», но было уже поздно, дым... дымище! – заметили командиры.

Надо ли говорить, как боялись за нас, послевоенных мальчишек: чтобы не покалечились, не подорвались ни на чём.

Потом, неделей позже, когда почти перестали болеть ушибленные ремнём места, я нашёл у себя в кармане обрывок той плёнки, и рассмотрел на свет. Это была «Сказка о Мальчише-Кибальчише», новый цветной мультфильм, одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года.

Всё будет хорошо...

Пречистенка. Всего-то чуть поболее версты¹², а какова... Сюда доносят вечно простуженный свой хохот чайки, в эту же сторону сносит и прозрачное облачко колокольного звона, что больше из прошлого, чем из настоящего, с той самой дороги в Новодевичий монастырь¹³.

Мне нравится плутать по Пречистенке и её дворам, обходить каждый дом, представляя, что будто не я брожу вокруг, а они стоят в очереди ко мне и крутятся, показывая, как хороши. И эдак-то не в любой час, но особенно по утрам, когда всякий дом или прохожий, улыбочив спросонья и приветливо желает тебе доброго дня.

Впрочем, рассвет, вероятно, невероятно приятен в любом месте земли. Заметен ли он, либо происходит тайно, под плотным, не пропускающим света пологом облаков, он всё одно придаёт жизни перцу, и от грядущего ожидаешь уюта и новизны, в одно время, что странным образом мирятся с соседством друг друга.

¹² 1 км 130 метров

¹³ в XVI веке будущая Пречистенка была частью дороги из Кремля в Новодевичий монастырь, в те времена улица называлась Чертольская

Особенно славно в такую пору зябнуть на морском берегу, за считанные мгновения до восхода солнца. Только тогда, светлые воды холодных морей подобны тонким чашам, сквозь которые видна неспешная суeta морских звёзд, а в тёплых же, под аплодисменты водорослей, – как жонглируют пузырьками воздуха рапаны.

Волны морей, те, что по велению и тяготения к ним лунны, завораживают многократно. Очарование их бесконечно-го обновления, в его убаюкивающем душу свойстве тешить собой надежду, как игру разума:

– Всё... будет... хорошо... – Шепчут они на ухо любому, а кажется, слышно то одному тебе.

И ведь полагаешься. Веришь на слово! А после твердишь себе то же самое, да выходить – как-то не так...

– Всё. Будет. Хорошо?

Капли дождя...

Капли дождя на ветке или склонённом к земле стволе представляются сделанными из перламутра, выпуклыми заметно клавишами флейты, старшей дочке свирели. Так вот, оказывается, чем разговаривает во сне лес. Не в своём, а в нашем!

Сам по себе он не спит, быть в яви теперь – для него дело чести, особенно после зимнего бесчувствия, когда всё происходит как бы не с тобой. Днём лес не так сговорчив, скрипят стволы, будто бы расстроенные разлаженностью игры оркестранты.

Округа лишь на первый взгляд ведёт себя, ровно каботинка. Её неудержимое стремление блистать, не имеет никакого отношения к внешнему лоску, к тому, чтобы поразить собой, но, противу обыкновения, обращается любое её поползновение в искусство и притягивает внимание продуманностью и глубиной. А простота с утончённостью столь натурально сочетаются в ней, ибо – натура такова.

Но лишь следуя её порывам, подражая, сколь возможно сердечно, можно удержаться в пределах неповторимости, в которой, самой по себе, нет ничего дурного, ибо говорено

уже не раз про то, что «на свете всё на всё похоже...¹⁴»

Куски льда возлежат с краю дороги, как выловленная только что скумбрия на прилавке; ломти гранита, смазанные белым, будто перестоявшим в холоде маслом; сугроб, что свисает из окна, спускаясь по прислоненной к стеклу ветке, словно выпростанная сквозняком тюль... Кто с кого примером? Чей за которым пригляд? Да всяк по-своему, друг за дружкой.

Мокрый гранит сверкает рыбьей чешуей слюды.

Кувиклами¹⁵ из земли – сухие, полые стебли болиголова. Ветер играет на них тихонько. Ему не страшно, он не Со-крат¹⁶, и в стократ жив дольше.

А на ветках – капли дождя...

¹⁴ Ищите истину в себе! [Текст] : [стихи] / Иоланта Сержантова. – Воронеж : Научная книга (НК), 2016. – 124, [1] с.; 14 см.; ISBN 978-5-4446-0773-2, стр 62

¹⁵ кувиклы, кугиклы – несколько не соединённых в одно целое полых трубочек из тростника или полых стеблей зонтичных растений – старинная многоствольная флейта жителей Белгородской, Курской, Тверской, Калужской областей и Смоленщины

¹⁶ был отравлен соком болиголова

В иные времена

В иные времена даже невинный утренний туман пахнет порохом и мнится дымом. Так уж устроено, что не умеет порядочный человек быть вполне счастливым, ежели кому-то нехорошо, а он, пусть и не знает про то наверняка, но подозревает, догадывается или был некогда упреждён. Не напрямую, быть может, мимоходом, как бы промежду строк поздравительного, с Днём Ангела, письма.

Своеволие человечества, в самом деле, не в праве выбрать меньшее зло, выгадывая себе сиюминутный прок, но в умении добыть как можно бОльшую пользу, и не для себя одного, а для всех, ибо только уверенно утвердившееся на ногах добро может быть источником последующей общей бытности.

– Нет, ну ты представляешь, косули-то, мать и дочка, все мои яблони до корня сгрызли. Грушу, ту не тронули, у неё веточки обросли колючками, одичала уже.

– Да, вроде, мало было зимой-то снега...

– Так они это в июле!

– Летом?!

– Ну, а я про что! Чем только яблоньки те не отливала, всё бестолку, погибли. Убила бы этих негодниц.

– А чего ж не убила?

– Да что я, зверь какой, что ли?!

Тут же неподалёку, за поленницей, лёжа в уютном гнёздышке из сена и листвы, к разговору прислушивались те самые косули, которых только что упрекнули в непотребстве. В такт словам они прядали ушами, а со стороны казалось, что лесные козочки делают это не из осторожности, но потому как им смешно. Косули вполне изучили повадки местного люда, приноровились к ним, и от того-то некоторым казалось, что лес населён с избытком, а другим, что глубокая чаша чащи пустынна и лишёна зримой жизни.

Но вот именно к этому двору косули, что называется, прибились. Со временем они распробовали, какова на вкус собачья каша и облаивали в сумерках лиса, который тоже приноровился добавлять себе к ужину тёпленького из широкой алюминиевой миски.

...В иные времена даже невинный утренний туман мнится дымом и пахнет порохом, а в другие...

– Кашей, что ли?

– Да, хотя бы и кашей.

Что главное в... цветке

Сколько бы ни было нам лет, какой бы сезон не обосновался за окном на время, как навсегда, – будь то купания в проруби или купели, питья целительных вод или съездов для зимних потех промеж балаганов, – мы все в плену чудес новогодней ночи.

Но даже если события очередного года не оправдывают наших надежд, мы стараемся делать что-то необыкновенное для других, передаём в их руки факел веры в добро, справедливость, которые уже сами по себе – чудо.

Меняем ли мы тем отчасти правду жизни или уповаем на то, – неважно, ибо мир соткан из невысказанных слов, неразделённой любви, неосуществлённой мечты многих и многих, которым помешал какой-то ведомый или неведомый пустяк: недобрый взгляд намерение, плохо сдержанный порыв недовольства, либо чужое, не к месту, волнение.

Я помню, как, бывало, говорил дед:

– Раньше я не так переживал. За всех. Раньше мне – тьфу! – а сейчас беспокоюсь. Обо всём! Видимо, возраст... Надо бы... чего-нибудь... – И посылал бабушку за четвертинкой «для аппетита», так как не желал покупать «беленькую» сам, позорить честь офицерского мундира, демонстри-

руя свою слабость в лавке перед сидельцем.

Бабушка горестно вздыхала, вскинув брови к корням волос, но не перечила мужу, а повязав на голову платок, брала сумку и отправлялась, за чем послали, ну и ещё прикупить правянту к столу.

На обратном пути сумка всегда была полна, узелок под подбородком растягивался, так что к дому бабушка подходила уже простоволосой. Платок совершенно не шёл к ней, он портил милый образ бабушки, сминая и пряча под грубой тканью завитые природой волосы. Мне всегда хотелось спрятать этот ненавистный цветной лоскут, но, думаю, тогда бы бабушка, покорно вздохнув, приподняла крышку окованного железом сундука, и достала другой, ещё менее интересный платок.

Кстати же, бабушка никогда не говорила про кого-то привлекательного, что тот красив, а называла его «интересным». Отчего бы так? Стыдилась ли она такого важного слова, под которым таилась, подразумеваясь, красота всего мира, или ещё из-за чего? Теперь не узнаю, а удосужился ли спросить у неё тогда – уже и не припомню.

Бабушка всегда была занята, и наблюдая за нею, я получил ответ на одну из основных задачек бытия – зачем живёт человек. Подчас, это трудно, но лишь от того, что неверно

задан вопрос, ведь надо понять не «зачем», а «как» жить человеку. Глядя на бабушку, я совершенно определённо понимал, что – с удовольствием, влюбляясь в каждое дело, именно тогда оно становится твоим, а уже после, в подтверждение сопричастности, приходит ощущение радости от общения с людьми и тестом, от глаженья кошки и белья... – ото всего, к чему касаешься или мимо чего идёшь!

Бабушка всё делала с лёгкой улыбкой, наслаждаясь любовью, часто нелёгкой, работой. Из-за того-то и пирожки с котлетами у неё были вкусны, и бельё сияло белизной, и от её акварелей просто невозможно было оторвать глаз.

– Ба! Это гвОздики?!

– Да... ГвоздИки.

– А это – шпионы?!

– Пионы, они...

– Ой, а тут... я знаю-знаю, не подсказывай... Тимофеевка!

– Верно.

По рисункам бабушки я не просто узнавал названия цветов и трав, но учился видеть их настроение, замечать поступки.

– Фу... калы... Не люблю их!

– Даже так? А скажи мне, что главное в цветке?

– Как что? Чтобы нравился!

– Э, нет... Куда важнее знать, что доставляет радость самому цветку. Чему навстречу открывает объятия своих лепестков, каких насекомых привлекает, опасается кого...

– Разве цветы умеют бояться?

– О, ещё как!

А вот самой бабушке, так виделось мне, ничего не было страшно: ни смерти, ни жизни, сколь та ни была б тяжела, ни даже дедушки, каким сердитым и грозным ни казался бы он иногда...

Но мы же, как всегда, только о цветах? Ну, так и будет с нас, вполне довольно про них.

Третий глаз

Во лбу неба, драгоценной бинди сиял Сириус. Выцветший на ветрах тысячелетий, он давно уже из красного сделался бело-голубым, утерял большую часть своего яда, но не перестал быть приметой правды¹⁷, привлекающей внимание.

– Та-ак... Третий глаз у вас ещё не открыт...

– У-у... жалко-то как! А я уж думал, что я не как все, особенный.

– Радуйтесь, что так, живите спокойно! Третий глаз это вам не украшение.

На заношенные пластыри сугробов, поросшие прошлогодней травой, сыплется разноцветная пудра бабочек: крупные жёлто-лимонные хлопья и мелкие, цвета густого южного загара.

В сочной ещё, незаветренной пыли, тупятся о камни насыпи золотые иголки травинок, утерянных прошлым годом.

Пук травы спешит по дорожке, перебирая тонкими пау-

¹⁷ Бинди (точка, капля) в индуизме – это знак правды, цветная точка, которую индийки рисуют в центре лба, так называемый «третий глаз». Так же известен, как тилака. В состав краски, которой ставится бинди, входит яд кобры.

чьими ножками, вязнет в лакированной слякоти, как в краске, цепляется за игольницу мха.

В чаще леса то ли учат кого, то ли любят, то ли ненавидят, либо крутят руки сломанному, но не сломленному суку, и тот силится не выказывать боли своей, да не всегда оно можно, вот и стонет от того на всю округу.

Берёзовые полешки лежат крест на крест барабанными палочками подле натянутого полотна поляны. Дятел дразнит их с притолоки берёзы, подначивает, того и гляди, не сдержатся, да как почнут топотать, да перестукивать, аж до земляной кашицы.

Пока суть да дело, день зашёл за спину ночи и, встав на цыпочки, принялся любоваться через плечо той бело-голубой звездой, на которую засматривались многие и до него. И ведь это не потому, что взору не на чем больше отдохнуть. Причина в другом, но вот её-то без третьего глаза и не разглядеть.

Это нравилось нам...

Ворон, утвердившись на громоотводе, говорил громко, вещая на всю многострадальную округу, которой предстояло вскоре перенести весеннее столпотворение, нестрой и разноголосицу птичьего пения, совершенного каждого в отдельности и откровенно фальшивого в хоре.

Ворон старался увлечь громоотвод к небесам, звал с собой, но тот оказался верен себе и стоек. Отчаявшись добиться своего, птица принялась насыпать проклятия и на него, и на землю, что по обыкновению покорно ожидала своей участи. Не в силах повлиять ни на что, земля, как мать, которая, рождая помногу, отдаёт, сколь может от себя, глядит после опустошённая, измученная волнениями, готовая сделать и превозмочь всё, что угодно, но только не пережить собственное дитя.

Ворон сидит выше всех, смотрит мимо зорь и криком своим призывает на округу грозу или понуждает её идти прочь...

Слом пня рыж от стаявшего едва сугроба и задран лисьим хвостом. Он умудрён и радуется той жизни, которая есть. Свежие, недавние его собратья, мокры от того, что напрасно гонят весенний сок земли, ибо ещё не знают, не поняли, не

верят, что они уже пни, и не к чему больше трудиться тяжело.

Зелёные от лишайников стволы орешника отливают изумрудом, гордые тем, что зелены и без листвы. Слабые их предплечья немощны только на вид. Придёт пора, и покажут они округе, на что способны. Осталось совсем немного обождать.

А округа сама... Дабы говорили про неё только хорошее, платит золотыми червонцами прошлогодней листвы закату. В медовых волнах его света заметно, что ветер, усердный городошник, оставил после себя раскиданные стволы, промеж которых, там и сям пробиваются пролески, как пушок над губой.

Передом к лесу стоит косуля, и была бы незаметна совсем, коли б не белоснежные её подштанники, что чудятся нестывшим с коры сугробом.

Покуда я уверял округу в том, что она хороша, как никто другой, из-под порога выбралась жабка. И... она не забыла меня!

Жаба улыбалась человеку, как собрату, как своему, да не спросонок, не из вежливости или благоразумия, а просто – помнила о нём, видела во снах, под колыбельную метели.

Так что теперь мы стояли бок о бок втроем. Над лесом

скандалили на лету скворцы. Они закапали всю землю своими голосами, но кажется, ей нравилось это, впрочем, также, как и нам всем.

В самом деле

Сова звала кого-то из-за занавеса ночи. Побитый в нескольких местах молю, он просвечивал звёздной пылью, но это свечение никак не мешало дремать округе. И спала бы не только она, если бы не настойчивый, всё более громкий от раза к разу оклик совы, который откровенно тревожил, так как звучал иначе, не то, что прежде, когда свежий и ясный её голос возвещал о своём неизменном согласии с мыслями и чувствами того, кому был слышен.

Седая с рождения осина молча грустила птице в ответ. Плотно сжав серые губы дупла, она раскачивалась после каждого уханья, словно колокол, в надежде сопроводить просьбу совы дальше, туда, в темноту, покуда не отзовется тот, кому был предназначен этот её призыв. Осине казалось, что бедная, отверженная всеми птица¹⁸ вопиет неспроста, и будет продолжать делать это бесконечно.

В самом же деле... Ну, конечно, коли кому важно знать про то, сова сторожила огороженный её чаяниями участок леса и голосила, отгоняя соседок, дабы не вздумали они притязать на то, что принадлежит ей по праву... По какому

¹⁸ ночной образ совы обусловлен, главным образом, нападками на неё со стороны прочих пернатых

именно, она не понимала сама, но принимала его, как данность, и кичилась им при случае. А каковые они, случаи, могут произойти у совы? Да, почти что никаких. Вскрикнет разве когда в полдень, с самого дна своего сна, вот тебе и всё. Не с кем ей разделить своё благополучие, нет охотников ни в этот час, ни на эту быль.

– У-гу! – Соглашалась с кем-то невидимым сова во сне. Сороки открыто хохотали над нею, будто над собой, и лишь осина, сжав губы, всё раскачивалась неслышно, баюкала совушку в тёплой колыбели дупла, жалея её по-прежнему, – больше, чем себя.

В тумане

Раннее утро. Туман. Летят журавли. Не клином идут, а эхом. Им не видно дороги, но для того, чтобы понять, что вот она, твоя Родина, карта не нужна. Ты чувствуешь биение её сердца, как и она – твоё. Ты лежишь у неё на груди с рождения, вы – одно целое, и не до поры до времени, а навсегда.

Кресты православного собора тоже увязли в болоте тумана. Но разве это помеха для уверенности в том, что вот они, там, над чистым пламенем куполов!? Или мешает это внутреннему согласию с тем, кто знает про тебя больше, чем ты сам.

В тумане молчат скворцы, и покуда оставили смеяться над всеми, кто не они. Не молчит один лишь филин, ибо считает себя вправе направить путников в нужную сторону. И, словно сделавшись маяком, он повторяет без устали из тумана:
– И-ди сюда... И-ди сюда... И-ди сюда...

А чага машет ему оленьим хвостом с берёзы. Просто так. Дерево стоит по пояс в растаявшем сугробе. Оно словно вросло в небо. Облака, будто нарисованные, парят на воде тенями сгинувших в одночасье снежных валов.

Голуби, сидя в ряд, пережидают туман на ветке карниза, не решаясь взлететь, как тот отважный селезень, что частит крылами низко над водой вослед за уткой... И на мокром, холодном ото льда берегу реки, у ног рыбаков ожидают по-дачки серые вороны. Или нет, не так, они слишком горды для того, птицы тоже рыбачат, но иначе. Удочка, она у каждого своя.

Горшочек с мёдом

Если я вдруг чувствую, что простыл, то поскрипев дверцами старинного шкапа, раздвигаю коробочки, пакеты и тусочки, дабы дотянуться до дальнего угла, в котором, привалившись сытым боком к стенке, стоит глиняный, обожжённый жаром печи горшочек. На одну треть он полон густым мёдом. Коли бы я не знал про то определённо, то ни за что не смог бы догадаться, ибо глиняная же, притёртая крышка засахарилась, плотно закупорив горлышко.

Прижав к груди горшок, я делаю усилия, чтобы добыть себе хотя ложечку волшебного лекарства, но сосуд упорен в своём нежелании поддаться. Порешив более не предпринимать попыток, способных повредить посудину, – обернуть крышку тряпицей, смоченной в горячей воде, к примеру, я возвращаю горшок на его место в тёмном углу, и отдаю должное горькому соку калины, что переливается всеми оттенками рубина на самом виду.

Всего пара ложек и напрочь позабыта простуда, а ещё три – обманутые надежды и даже на что именно были они. Калина помогает не помнить о многом, только не про тот самый горшочек и живущий в нём мёд. Он достался мне от одного пчеловода, белобрысого голубоглазого грузина, со звучной фамилией, оканчивающейся, как полагается на -дзе, кото-

рый любил в своей жизни всего двух женщин – строгую, сухощавую, молчаливую маму, да русскую жену, статную красавицу с лучистыми глазами и ямочками на щеках.

Наш грузин работал столяром-краснодеревщиком, жил в выстроенном собственными руками доме на Родине жены. Скучая по теплу и простору, с весны до осени он спал в саду под деревьями, а просыпался, когда пчёлы, вылетев из ульев поутру, щекотали его щёки.

Мёд, который выгонял -Дзе, будем называет его так, сохраняя инкогнито, обладал независимым характером, под стать хозяину. В разное время дня, он мог вдруг загустеть от задумчивости, или растрогаться до мягкости, что не могло не потешить горячую грузинскую кровь. Перенимая повадки друг друга, мёд делался терпким, а человек излучал нежность и доброту. Не то, чтобы в нём их было недостаточно прежде, но всё же... Не всегда возможно сдержать досаду, а коли в тебе нет больше места для недовольства, чем, кроме сердечности, способна поделиться душа?..

-Дзе с лёгкостью вручал и её, и свой мёд. Он отдавал его с ласковой улыбкой, но просил только не тратить понапрасну:

– Если просто хочется сладкого, купите лучше конфет. Мёд не для забавы. Чтобы он не причинил вреда, к нему надо прислушаться, и вкушать лишь тогда, когда будет на то настроение у вас обоих. – Напутствовал -Дзе новых облада-

телей своего мёда. Старинным же друзьям не требовалось лишний раз напоминать, как услышать желание мёда разделить с ними свою силу.

В тот день, когда -Дзе заснул своим последним сном, пчёлы впервые не покинули своих уютных домов. Горстью золотых лепестков осыпались они на заполненные мёдом соты, и небо умылось дождём, будто слезами, а тот мёд почернел, как лица крепко любивших -Дзе людей... Но розданный ранее, из тёплых ещё рук, был жив! Он сохранил сладость дыхания своего друга, цвет его волос и трепетность, тщательно сокрытую от прочих.

К счастью, у меня осталось немного этого мёда. На треть заполнив собой глиняный горшочек, временами мёд то сердит и важен, то подозрительно ласков. Так что – пускай заперт до поры, но то по своей воле! Зато он жив, и не даёт позабыть о прекрасном Человеке, светловолосом и голубоглазом грузине, фамилия которого, как водится, оканчивается на -дзе.

Шмель за щёки цветов целовать притянул...

19

Река, прикрытая вкусной, сладкой на вид, серой ноздреватой, как сыр, коркой льда, спала. Точно такая же обыкновенно бывает на ягодах вишни, засыпанных на ночь сахаром. Низко над этим льдом летел шмель. От того, что медленный, основательный его полёт был едва слышен, чудилось, что я сделался вдруг на ухо тугим.

– Эй, шмель! Ты чего? – Окликнул я шмеля.

– А что я? – Прошептал тот в ответ.

– Да уж слишком тихо ты летишь!

– Как иначе? Речка-то ещё спит! Не хочу мешать.

– Ну и что? Ей давно уже пора вставать.

– Спорить не берусь, может оно и так, да не я её укладывал, не мне и буживать²⁰.

Месяц, что в этот утренний час подглядывал в щелку неба за ветром, который шалил, раскидывая на ковре горизонта

¹⁹ В одной тональности...: стихотворения и песни на русском, английском и чешском языках/И. Сержантова. – Саратов: Амирит, 2021. – 138 с. ISBN 978-5-00140-775-1 \У каждой Родины своя природа, у каждой природы своя, особая тональность... Музыка стихов в тональности Родины:, стр 121

²⁰ будить, поднимать ото сна

вату облаков, расслышал ответ шмеля, и кивнул согласно:

– Шмель не ошибся, ибо реку разбудит солнце. Оно поднимет каждого в свой черёд и будет сердито, коли вмешается кто в сей порядок.

Я осмотрелся. Брошь вороньего гнезда скальвала кружевной ворот кроны берёзы. Рассвет плавил лесную чащу снизу доверху. Низовой туман выбелил вишни в саду. Ресницы месяца обметало хлопьями облаков, будто инеем... Лепота вокруг! Красота и великолепиие.

Шмель, что теперь улетел досыпать в своей норке, оказался совершенно прав, оставив каждого при своём деле. А уж как только солнце прогладит горячим простынь земли, дабы приготовиться к рождению многого и многих, тут уж он не станет мешкать, а зацелует каждый из цветов, притянув их за щёки, как можно ближе, и не раз...

День театра

Странного вида гражданин стоял на задней площадке автобуса. Со стороны могло показаться, что человек явно не в себе. Обращаясь к оконному стеклу, он то укорял его в чём-то, то заискивал перед ним. Временами, не в силах сдерживать чувств, пассажир принимался жестикулировать, толкая соседей по автобуса локтями, а те, не смея перечить явно нездоровому товарищу, молча отходили подальше. Мало ли как отреагирует тот, попроси его кто держаться в рамках приличия.

Автобус ехал, тормозил на остановках, набирал скорость вновь... Попадая в дорожные ямы, колёса выжимали из них кофейную гущу сочной грязи, брызгали ею на то самое заднее стекло, закрывая и искажая пейзаж за окном, но вызывающему всеобщее недоумение гражданину было совершенно неважно, что происходит вокруг. Он продолжал свои страстные непонятные речи, а если стороннее мнение и беспокоило его отчасти, то он не подавал виду, делаясь, тем самым, совершенно неуязвимым для кривотолков, усмешек или неодобрения.

Одному из пассажиров, который ехал от одной конечной до другой, из-за нечего делать пришла охота прислушаться к бормотанию безумца, и вскоре он распознал слова извест-

ной с детства басни. Немного смущало лишь многократное её повторение, впрочем, каждое последующее было не похоже на предыдущее.

Под ритм слов детской басни с недетским подтекстом, этот сумасшедший ненавидел и любил оконное стекло, страдал об нём и отвергал его притязания на свою персону, делаясь раз за разом всё исступлённее.

Будь стекло человеком, оно бы уже давно или сгорело со стыда, или кинулось в объятия безумца.

Бывалый водитель выдавшего вида автобуса, который до поры до времени молча крутил баранку, вдруг прокашлялся и обернувшись к пассажирам, громко сообщил:

– Следующая остановка «Институт искусств»!

Гражданин, что приводил в изумление окружающих своим поведением, встrepенулcя, и совершенно нормальным, разве что немного испуганным голосом переспросил:

– Какая?!

И все пассажиры, которые были в автобусе, не сговариваясь, нестройным хором повторили название остановки:

– Институт искусств!

Парнишка зачесал пятернёй чёлку назад, прищёлкнул

каблуками, словно поручик, и в точности повторив оскал улыбки Фернанделя²¹, раскланялся на две стороны, как на сцене, после чего выбежал через кстати распахнувшиеся двери.

– Артист... – Восхищённо покачал головой пассажир, который ехал от конечной до конечной, а водитель нажал клаксон и прокричал в приоткрытое окошко кабины:

– Ни пуха не пера!

За что и был отправлен к чёрту, на совершенно законных основаниях...

²¹ французский актёр Жозеф Дезирé Контандён (8.05.1903-26.02.1971)

Косохлёст

Небо переливалось через края горизонта и стекало на землю не то ручьями, не то реками, но скорее – мелкими потоками или же водоскатами – не широкими и не узкими, прозрачными, острыми, как полные ледяного питья клювы.

Вода, не раздумывая особо, увлекала за собой обрывки размокших туч и ломкие ещё от холода метёлки деревьев, ободранные скатившимися наледни сугробами крыши, тёмные с одного боку столбы и откинувшиеся назад заборы, что, казалось, сделали это, дабы набрать побольше воздуха в лёгкие, а после как можно громче рассмеяться: и над собою, и над происходящим.

Но хохотать было особо не из-за чего. Округа неумолимо таяла и стекала в землю вместе с водой. Казалось, что ещё немного, и она впитается насовсем в почву, прямо туда, в объятия корней трав, которые воспользуются сим подарком небес и зацветут, как никогда прежде, – причудливо, витиевато. При всём при том, это будет единственный, и будто бы последний раз.

Избурий²² день споро наполнил лужу сумерек, та, в свой черёд, прохудилась, излившись в широкую чашу ночи, так

что мокрому насквозь ветру не оставалось ничего, кроме как дуть на спелый одуванчик луны почти в полной темноте, дабы засеять грядки неба семенами звёзд.

Наутро оказалось, что округа цела, а дождевые капли сделали каждую её поросль совершенно похожей на заросли вербы. Деревя, восхищаясь собой, гляделись в кстати разложенные зеркала вод и казались себе красивыми, посему не мыслили пенять дождю за единообразие, ибо в пору, когда почки на ветвях не решаются разжать свои ладошки, всякий наряд к месту и более, чем хорош.

– Кто там стучит в окошко? Не то соседи?

– Это дождик...

– Насмешничаешь?! Скажи ещё – «ситничек»! Да там не абы какой, лёт-то на совесть, проливной. Как там его в народе кличут?

– Ну как-как? Запросто! – косохлест²³...

²³ проливной, самый сильный; косохлест, подстега, косой дождь, по направлению сильного ветра

Своими словами

Мох замер на тропинке мягким ручьём.

Оправленные в прошлогоднюю траву булыжники играют с солнцем, подобно пыльные самоцветы.

Нежен и трогателен ветер в веснушках дождя. Он обнимает за плечи, гладит по спине и волосам, только вот после, как отходит, капает с рукавов и подол липнет к коленям.

Белые бабочки мокрого снега садятся на землю и больше не желают никуда улетать. Им хорошо и там. В других местах они не всегда могут удержаться, и скользят, из-за чего, пустив одну-единственную слезу, теряются. Насовсем или из виду, – кому как удобнее думать про то, а как уж оно на самом деле, об этом не знает никто.

– Вот ещё, глупости! Какая в том премудрость?! Снег тает, питая землю!

– А может его успеваает перехватит солнце! И, вложив в мощну облака, оставляет на потом!

– Наверное... Возможно и так... Не знаю...

– Ну, таки вот!

Уверенность вкладывает силу в слова, умение – в дело.

Первая от веры, второе от опытности. Что лучше? Когда одно с другим, рука об руку.

Округа вся в неровных кляксах мокрого снега. Круглыми бусинами увешаны ветки, в каждой – перевёрнутый вверх-дном день. Там всё не так: облака вдыхают снежную пыль, а ветки устроились удобно на каплях воды, как на прозрачных дурых ножках.

Каждый представляет мир по-своему и рассказывает про него точно также, – своими словами.

Всё же весна

Когда пруд ещё закупорен крышкой льда, на его дне уже расправляет мощные плечи корень кубышки. Или не плечи... Ну, не суть, то не заслуживает особо пристального внимания!

На вид, коли рассмотреть ближе, сам корешок похож на полешек, толщиной в мускулистую крепкую мужскую руку. Неинтересный, непримечательный ничем, не тешит взора, и более того – склизкий местами. Из приятного лишь одно – пахнет лягушками. Не прогорклой тиной, не взвесью ила, а именно, что лягушками, и не бурыми, серьёзными и основательными, но непременно зелёными, весёлыми и сочными, как листья молодого подорожника, хрена или винограда. Прочие листья иных оттенков, не прудовых, сухопутных от самого тонкого корешка до макушки, ни в какое сравнение не идут.

Покуда вода ещё заперта, корень кубышки просыпается и, не мешкая, принимается ершиться, покрываясь тонкими стеблями. Они гибки, как змеи, а показная их нежность лишь для зевак и восторженных барышень. В самом деле стебли кубышки весьма жёстки и упрямы. Коли бы не привычка к порядку, упёрлись бы они своими зелёными носами

ми, да приподняли б мешающую любоваться небом льдину, дабы она треснула, сложившись сперва напополам, а после ещё на несколько неровных частей.

Вместо того, кубышка даёт дожить льдине своё, не торопит, дожидается того последнего часа, когда потемнеет единственный оставшийся её ломтик, а тогда уж...

– Что там торчит из воды?

– Так то кубышка пустила свой первый листочек!

– Надо же... Так скоро...

– Ты это о чём?

– Да, говорю, зима быстро прошла, у всего хорошего слишком короток срок...

– А у плохого?

– Тогда время тянется... тянется, и, кажется, нет тому конца.

Поверхность воды пруда чиста. Так бывает перед самым ледоставом и сразу после него. И только любопытный узкий нос зелёного листа, что показался над водой, не даёт ошибиться со временем года. С дождями, снегом и северным ветром, но это всё же весна.

Когда как...

Я очень обижен на отца, и порождённая этой обидой горечь неизменно вызывает нечаянные невольные слёзы, которые приходится объяснять окружающим и лгать им, сетуя то на непогоду, то на внезапное недомогание.

– Скоро пройдёт. – Успокаиваю я близких, хотя в самом деле это не так. Ибо сердечная рана от потери отца, она навсегда, и не заживёт никогда. Первый шок, омут немоты и ужаса сменились постоянным недугом, что временами делается только острее...

– Пап, а зачем в метро перед каждой станцией моргает свет?

– Видишь ли, почти все пассажиры читают, того и гляди проедут свою остановку, а так... – свет выключили на мгновение, человек оторвётся от книги, посмотрит какая там станция за бортом или прислушается к диктору. Толково!

Отец замолкает надолго, а я от нечего делать принимаюсь заглядывать в чужие книги. Читаю я быстро, так что не могу набраться терпения и дожидаться, пока перевернут страницу, а вместо этого перевожу взгляд на книгу следующего пасса-

жира. Иногда бывает достаточно просто скосить глаза, а то приходится тянуть шею или даже вставать на цыпочки.

Одни держат томик на коленях, другие в руках, кто-то смотрит на страницу через очки, иной, позабыв их, щурится, либо оттягивает пальцем уголок глаза, пытаясь разобрать написанное.

Седовласая дама с едва заметной ямкой на переносье, что сидит по соседству, явно из тех, забывчивых. Она тихонько вздыхает и вытягивает руку с зажатой в ней книгой как можно дальше. Заметив мой взгляд, она жалуется шёпотом:

– Рук не хватает! – И предлагает участливо, – Хочешь почитать? У меня в сумочке ещё одна книга, прозапас!?

Я тут же потею от смущения и молчу, но папа моментально приходит на выручку. Вложив в выражение лица изрядную долю такта, он отказывается от одолжения вместо меня:

– Благодарю вас, но мы уже выходим. – И улыбается даме, как родной.

Все лампочки в вагоне одновременно подмигивают, поезд длинно и плавно тормозит, а мы подходим ближе к двери, чтобы выйти первыми. Отец, как обычно, смотрит куда-то глубоко в себя, а я разглядываю его отражение. Лицо отца несколько брезгливо, неприятно, и как бы живёт своей, отдельной от притворной любезности жизнью. Я всегда пора-

жался, как скоро спадает с него маска предупредительности, сменяясь той, что наблюдаю теперь. Случалось собеседнику отвернуться, а папа уже не тот. У меня было такое ощущение, что он не желает показывать окружающим себя настоящего, а рекомендуется людям с той стороны, которая будет понятна и, что самое главное, приятна им.

Со мной же он особо не церемонился. Я часто слышал от него по любому поводу: «Муть это всё!» или «Дурацкое дело нехитрое!» – При этом он смотрел не на меня, а куда-то мимо.

То же самое, про нехитрое и дурацкое, сказал он при знакомстве с моей будущей женой, и даже в тот день, когда я захотел порадовать его возможным появлением внуков... Было ли мне обидно? Не знаю, не уверен, привык наверное. И это вместо того, чтобы понять, почему он говорит именно так.

Однажды, когда выгруженные лентой эскалатора пассажиры вдохнули наконец свежий выхлоп автомобильного потока и засеменяли в разные стороны, отец вдруг раздумал спешить и сделал шаг в сторону из толпы, позволяя людям пройти:

– Кушать хочешь?! – То ли спросил, то ли провозгласил он, на что я, постоянно голодный подросток, лишь пожал плечами. – Ну, давай пожуём, тут рядом студенческая столовая МГУ.

– Так мы же не студенты! – Возразил я.

– Ты пока нет, а я ещё да. – Грустно усмехнулся папа.

Кстати говоря, он любил спрашивать у едва знакомых молодых людей, есть ли у них цель в жизни. Сравнивал со своей? Не знаю. Про него самого узнать я так и не удосужился.

Отец научил меня мечтать о невозможном, как о том, что обязательно произойдёт. Он как бы брезговал обычной жизнью, давал понять, что кроме видимых всеми её проявлений есть иные, ради которых, собственно, мы и появляемся на свет...

... А тот моргает, совсем незадолго до того, как нам выходить, так что мы не успеваем понять, что происходит. Или успеваем? Наверное, когда как...

Своим чередом

Бабочки весной взмывают на высоту чуть меньше пятидесяти сажень²⁴, а после ссыпаются в траву цветными бумажками, где отдыхают, набираясь солнца, как радости. Да не по указке ветра, а по собственной воле, чем себя и тешат, ну и прочих других, что щурятся на них, и не одним взглядом следят за порханием, но по-детски крутят головами и улыбаются застенчиво, оправдывая свою не к месту восторженность, испрашивая за неё прощения у всех, кому теперь не то, чтоб не до бабочек, а просто – вовсе не до чего.

Лакомые кусочки, эти бабочки, и на вкус, и на вид. Легка их нежная краса, а недолговечна, и пусть они лёгкая добыча птицам, но тем покуда не до них. Ну, ухватят разве когда, как подношение пернатой своей зазнобе: либо целиком, щёпотью в виде букета, или крылышком, что сойдёт вместо веера, а так... Баловство, не к чему портить зазря.

Нынче у птиц всё ухаживания, подарки, да заигрывания, ссоры и примирения, предложение руки и сердца, отказы и согласие, а после – поиски тихого уголка и уже не холостяцкие пирушки и безрассудная безоглядная праздность, а

²⁴ сажень – 2, 134 м, бабочки поднимаются на высоту до ста метров

семейные хлопоты, первая из которых – обустройство собственного гнезда. Ну, или, на худой конец, починка прошлогоднего, в том случае, если оно ещё цело и осень с зимою вдруг не нарочно пощадили его.

Так-то, взаправду, оно случается редко. Осень воду дождевую сквозь сито гнезд цедит, зима сеет из него же на землю снежной мукой... Ну, да, – дело птичье, молодое, задорное. Исправят гнездышко, детишек заведут. И на свадьбах споют, и у колыбели. Всё идёт своим чередом. Так, как это и должно быть. У всех...

Стоит оно того...

Трясогузка прилетела ещё вчера, но решилась предстать пред ясны очи лишь нынче поутру. Накануне, когда я подглядывал за нею через плетёные гардины ветвей, она была вся вровень с пыльным своим оперением, от съехавшего на затылок чепчика до подола.

Первым делом трясогузка наскоро облетела двор, проверила, всё ли осталось прежним, не переменялось ли что, не стоит ли и ей, коли такое случилось, и самой перебраться в другое место. Но нет, превратности судьбы не коснулись знакомого с рождения уголка, и тот нежился и жеманился едва заметно под внимательным взглядом трясогузки, радуясь небеспричинному довольству птицы:

– Всё так, всё так... – Поцарапав ноготком крашенный скат крыши, прошептала сиплым с дороги голоском трясогузка, и отложив беспорядок на потом, юркнула она поскорее в серый сумрак чердака, где и проспала до рассвета на промазанных глиной брёвнах, – таких мягких, уютных, родных, – не чувствуя маховых с рулевыми крыл, как без задних ног!

Выспавшись хорошенько, трясогузка поспешила к пруду.

Закраины²⁵ съёжившейся льдины, усохшей, словно шкурка от яблока, были уже довольно далеко от берега, так что птица смогла освежиться, а также устроить мытьё белья. И только после того, как трясогузка сделалась совершенно чиста, в выстиранном добела исподнем и снежного цвета чепчике, она постучалась в окошко:

– А вот и я! – Пропела птичка, и в ответ на проявления радости сему обстоятельству, поведала про нелёгкий свой полёт и долгое вынужденное отсутствие, о думках на житьё и переустройство, которых завсегда больше, чем дел после. Да тем они и хороши, ибо окрыляют наше бытие мечтами, дают сил не страшится будущего, хотя и стоит оно того, подчас...

²⁵ свободное ото льда пространство между берегом и центральной частью льдины над глубоким местом

Не всякому...

День запустил из развилки дуба, как из рогатки, рыжим снежком солнца, отчего рассеялся растянутый на пальцах берегов реки туман. Тонкие иглы молодых листьев кувшинки, что упирались в прозрачную и сырую ткань, прошили её в пустой след. Мало солнца случилось к этому часу, от того немного было и сил.

На пенке вечной зелени нежной горчичной каплей проступала овсянка. Заявилась она тихо, незаметно, словно и не улетала никуда. Плетёт теперь понемногу. Не каверзы, не плетень, а то, что обыкновенно об эту пору. Снуёт в зарослях, улыбается молча, одними глазами. Покуда не поёт, бережёт голос.

Малиновка, неуживчивая даже с роднёй, поселилась по соседству. Лоскут зари, что повязан у неё на груди, заметен издали, как вымпел. «Место уже занято...» – будто сообщает малиновка прочим, да кто её и когда станет слушать, кроме как на утренней и вечерней заре.

Берёза дымит на просвет. Не листочками трепещет, одним намерением, но зримо, так что глаз не отвести. Знамо, не верится им, и не зря.

Чуб леса закрывает и луну, и щёку вечера, всю в веснушках звёзд. Яркий глаз ночи осматривает сумеречную округу. Светит фонариком по лесным тропинкам. Чему-то улыбается, над чем-то грустит, но всё втихаря. Не болтлива луна, скрытна совсем.

Зато беседовал я во тьме с вороном. Долго. Сам он чёрный, а душа – белая. Не всякому оно дано, – ни её понять, ни владеть ею. Вот вам и весь сказ.

Как и всегда...

В углу лесной чащи, словно под потолком светлицы, теплится лампада луны. Невидимая никому, невиданная²⁶ печь искрит созвездиями, из-за чего делается тепло и уютно. Хотя, ежели по чести, вечерами ещё достаточно свежо и беспрерывно сыро.

Жабка, что вышла на порог насладиться одиночеством, выглядела более, чем довольной. К тому же, испарина, выступившая на лбу округи, не сумевшей ещё набраться тепла, оказалась весьма кстати. Молча, не мигая, жаба любовалась луной. Фата белой тучи делала ту загадочной и недосыгаемой, как засватанная родителями, невиданная²⁷ покуда женихом невеста.

Ветер шалил, срывая шиньоны гнёзд с осин, играя локонами ив в парках, что стояли теперь простоволосыми распустёхами. А после, не смешавшись²⁸ ни разу²⁹, смешивал краски по своему разумению и рисовал на небе облаками, как акварелью. Не от того ли, не изменяя себе ни в чём, луна по-

²⁶ небывалый, неизвестный ранее

²⁷ то, что ещё не видели

²⁸ смутиться

²⁹ никогда, ни одного раза

казалась жабке не прежней строгой недотрогой, но мягким клубком шерсти, который загнали повыше столь мягкими же лапами неуёмные в своих играх коты.

Если бы жаба могла не спать подольше, то в невнятном бормотании утра она б разобрала едва слышимый треск лоскута вчерашнего неба, неровно оторванного прямо по кромке сосняка. И стало б заметно ей, что земля обсыхает, как новорожденный, покрываясь редким пухом травы и мокрый заморыш становится красавицей. Впрочем, как и всегда.

Лазарева суббота

Солнце всё больше поддавало жару, вынуждая ослабить кушак, сдвинуть на затылок шапку, или вовсе сдёрнуть её с головы, да прищурившись противу ветра, сломать надвое и запихнуть в карман.

Я спешил идти, едва сдерживая желание скинуть с себя платье и оставить у тропинки, с тем, чтобы забрать хотя на обратном пути, либо перед осенью, как вдруг дорогу мне преградил зяблик. Нимало не торопясь, птица шагала, хлопая себя крыльями по худым коленкам. Казалось, она стряхивает наземь последний снег минувшей недавно зимы.

Этим зябким, по самой сути своей, птичкам претит само упоминание о холоде, вынести который им не дано. Одна-таки не сдержалась, и рухнула на небритый подбородок пригорка. И хотя дышит теперь жарко солнышко на птицу, да напрасно, не взлететь ей уже, сердечной, больше никогда. Точно так распускаются на срубленном дереве листья, в пустой след.

Воздух едва заметно пахнет пасхой. Не влажным, тяжёлым тестом цвета весеннего яичного желтка, а толчёным в ступке сахаром, смешанным с водой, которым обмазывают её выпуклые сдобные бока.

Пышная пенка песка вокруг многих муравьиных нор на самой тропке заставляет умерить шаг. Ступать прямо по ним кажется поруганием и новой жизни, и очередным её возрождением.

Закат подпалил кусты орешника, из-за чего мерцает издали рыжее нежное пламя первых листьев, вызывая невольный испуг. Но лес покоен и не потворствует страху.

Шмель, с присущей ему учтивостью, выписывает вензеля на лету, низко кланяясь земле, а бабочка сбивает в смятении первого полёта невидимые ещё никому цветы... И они прекрасны! Кому-кому, а бабочке в этом довериться можно вполне.

Кидается под ноги, раскиданная там и сям рваными из висков волосьями изжеванная осенью древесина. То – ревность к весне кричала об себе напрасно.

Из горсти дня сыплются серые пчелы, похожие на отломившиеся почки вербы, летят они по ветру в то самое никуда, откуда некстати заявился холодный ветер, и вынудил выудить из кармана шапку и стянуть кушаком поплотнее одёжу...

Солнце старалось, грело, как могло, но выходило пока не очень, а жаль...

Одна-единственная...

Осина зажала розовую жемчужину закатного солнца промежду двух морщинистых пальцев, и нежно, бережно удерживала её от неминуемого в сей час падения. Но всё обошлось. Ветер споро настелил на ровную доску горизонта тучных пуховых перин туч, осина решила-таки ослабить хватку, и солнце скатилось в приготовленную для него колыбель из затёкшей до красноты ладони дерева. Поискав среди мягкого то, в чём нега дрёмы охватит поскорее, солнце закрыло глаза, и ночь, как добрая няня, присела у порога следить, дабы не побеспокоил никто тихий сон солнца до утра.

Однако не бывает так, чтобы обратная сторона дня была совершенно тиха. Грешат непокоем даже зимние ночи, когда скрип наста, будто половиц, нарушает всеобщую немоту, а что уж говорить про ночь середины весны.

Нет-нет, да вздрогнет где-то неподалёку влюблённый сыч. Мало ему февраля с мартом, до самого мая он более, чем воодушевлён, от того же и суетлив. В попытках завоевать и удержать после глазастую свою половину, позабывает он про осторожность, ну и про шумы, которым во тьме дано больше воли, нежели при свете. Тогда-то они куда как скромнее и проще.

Ветер треплет прохладный шелк знамени воздуха, трогая щёки, являя себя, словно знамение. Продвигаясь по зыбким волнам небес, скрипит уключинами лодка, в которой гуси возвращаются из теплых краёв, а на мраморной из-за облаков пристани, волнуясь заметно, поджидает их Родина. Та, что одна-единственная, и всегда там, где ты о ней не позабыл.

В своём праве весна...

Сквозь грубый холст лишённого листвы леса проглядывала нарисованная солнцем пастель. Молодой орешник впервые позировал округе, и не смея вздрогнуть или вздохнуть, пренебрегал уговорами ветра, что крался по низу и задирая его тянул за подол. Впрочем, ветер скоро отстал. Он ленился подниматься с разложенных по низинам для просушки мягких ковриков мха. На них было приятно валяться, мечтать, да хватать за пятки всех проходящих мимо.

Посреди косовой, не касаясь земли, в мягком гамаке, сплетённом из золочёных лент травы, нежилась ящерица. Солнце раскачивало подвесную койку тёплой рукой, баюкая ящерку. Тут же, на камне у дороги, пристроился и лесной клоп. Он был внушителен в своих доспехах, и из-за них же смешон. Кому придёт охота вступать в распри, в такой-то день!

Пауки натягивали первые струны паутины на грифы со-сен.

Губы болотных кочек обметало травой, вода промежду них пенилась суслом, а вышитые первоцветами пригорки глядятся празднично, выстиранными рушниками.

Земля пахнет неприлично густо, взопрела с непривычки. Ветер, листая зачитанные страницы травы, находит среди них и про запах прошлого зноя, и про душный, душистый аромат цветения разнотравья, и про распевки шмелей на рас-свете, – будет что подсказать земле.

Бабочкам от весеннего угара вскружило голову, вот и кру-жат они, задевая лицо.

Узкий след ступни кленовой крылатки, – это всё, что оста-лось от осени, после зимы – и вовсе ничего, а юная медянка, которая успела едва уступить дорогу тому, кто идёт по ней неспешно, будто завиток кованой решетки будущего летнего сада...

Таки в своём праве, наконец, весна...

Растрата

Я стоял возле неё, и во всеуслышание восхищалась ея прелестью, ибо совершенно был не в силах смолчать. Она была нежна, скромна, но явно не изнежена и держала себя спокойно, с достоинством, в котором было куда как больше знания о своих достоинствах, нежели истинного понятия про них.

– Отчего вы к ней... эдак?! – Удивился проходящий мимо. – Стоит ли оно того, чтобы тратить на неё минуты своей жизни?! Ведь, добро бы какое дело, а то так, пустяк...

Не удостоив прохожего даже кивком, я продолжил своё занятие. На самом припёке у забора, слившись с травой, прикинув к ней тесно, лежала ящерица. Когда я только шёл в ту сторону, не подозревая про её существование, она затаилась, дабы дать немного времени нам обоим. Мы могли напугаться или напугать друг друга, но вместо того... Я был сражён совершенством её образа, а она, так вышло, очарована моей восторженностью.

Ящерица положила ладошку на рыжую гриву травы, и замерла, прислушиваясь к моим безыскусным, но искренним речам. Они, хотя и смущали немного, но явно нравились ей. Не отличаясь красноречием, я повторялся чаще, чем того хо-

тел, и реже, чем заслуживала сама ящерка. Но она благоволила ко мне, а я, из-за неумения говорить красиво, старался хотя бы всякий раз менять тон:

– Какая красавица! Какая... красавица!!! Какая! Красавица!!!

Солнце подсвечивало ящерицу, предлагая рассмотреть её получше, рекомендуя не как товар, но будто драгоценность под стеклом... А она и вправду была бесценна, эта маленькая юркая ящерка. Всего лишь день назад, в траве у забора лежал бесформенный страшный мёрзлый ком земли, и вот теперь, когда он оттаял...

Так как не истратить несколько своей жизни на то, чтобы почтить и поприветствовать чужую?!

День плетения из солнечных лучей

30

Шмель деликатно постукивал в окошко, шуршал по стеклу, шаркал, расшаркиваясь, и шептал обворожительным, обволакивающим собеседника баском:

– Ш-ш-ша-рКО!

Я вышел из дому, поглядеть, точно ли там так жарко, как про то твердит шмель и он, на один только взгляд зависнув перед лицом, радостно полетел вперёд, призывая следовать за собой.

– Ш-шикарно! – Без устали шелестел шмель, и я, оглядываясь по сторонам, был совершенно согласен с ним.

Полдень лился мёдом, и им же вздыхал. На праздничном столе весны были разложены. зеленые салфетки листочков в медных кольцах почек. Гусенички берёзовых серёг, вперемешку с выпавшими украшениями из ушей осин, лещины и ольхи, копошились на тропинке, мешая идти. Ступать по ним было неловко, ибо их нежные косточки были чересчур хрупки. Один неосторожный шаг, полшага, и поминай как звали их, так что приходилось быть более, чем осмотритель-

НЫМ.

Всё, кроме хмеля, что терновым венцом обвил голову пня, было зеленой зелёного. В прочее время таких оттенков, пожалуй, не сыскать. Жёсткий ворс молодой травы, пирамидки сосен и самый воздух подле них, – похоже, были того же похожего, неодинакового цвета.

Чёрный шмель с крыльями под масть знойного июльско-го неба припал грудью навечно к тёплому песку, а над ним порхал, хромя, увечный, с опалённым крылом мотылёк.

Сокрушаясь об них, сосны хлопотали ветвями, махали от огорчения руками в широких, отороченных зелёным же мехом рукавах, так что кусочки коры сыпались с них и летали по ветру бабочками. Березы – те стояли смирно, их ветви в ажурных шелках лишайника, как в чулках, зябли от возбуждения страхом. Белолицы и чернобровы берёзы, да нечем им выразить себя, подчас, кроме как промолчать.

...Шмель всё летел и летел впереди, не давая проходу. Пряный аромат перебродившей берёзовой крови кружил голову, а сквозь тантамареску³¹ облака на землю глядело солнце...

³¹ картинка с вырезанным местом для лица, используется в фотографии

Так отцу и скажу...

Чем ближе втянутый узелок загорелого пупка лета, тем чаще вспоминается зимняя рыбалка. Ну, не совсем рыбалка, а так...

Как-то раз, гуляя на лыжах по лесу, я дошёл до залитого морозом катка реки. Снегу той зимой насыпало меньше обычного, широкие чаши оврагов оказались заполнены холодной крупой едва ли по колено, поэтому можно было любоваться белой вышивкой инея по серой канве ветвей, вместо того, чтобы пыхтеть, проминая сугробы до красной пелены перед глазами.

Задорно шлёпая пятками по лыжам, как тапками, я раскачивал головой, словно болванчик, напевая нечто невразумительное, но несомненно весёлое под нос себе и лесу. Радость в детстве не ищет повода, потому как он есть у неё всегда. Вкус каждого глотка бытия забываем, ибо всякий – впервые, любой – интересен и не напрасен. К тому же, пустяшного, зряшного не бывает, и не потому, что его вовсе не существует, но из-за того, что картинка жизни собирается не враз, а постепенно. И то, что почудилось случаем, явило себя закономерностью, сказанное сгоряча обернулось пророчеством. Но всё же, всё же, всё же...

Кто ждёт от ребёнка сурьёза? Он – само счастье, что не в недостатке разума и опытности, а в умении отдаваться жизни со всею страстью и искренностью. Взрослый, поди, уж и не сумеет так...

Итак, напевая под ритм попеременного двухшажного³², я сам не заметил, как вышел на лёд. Пологий берег, обняв реку, укрыл её краем снежного одеяла... Было тихо и торжественно, аж до мурашек! Я выдернул ноги из лыж, так как показалось неуместным и пошлым шлёпать пятками по деревяшкам, будто в сенцах. Это как бы если я пришёл в музей в домашнем или исподнем, не умывшись, и не пригладив мокрой расчёской чуб.

Не сразу, но я заметил ущербный лёд прямо посреди реки, и поспешил посмотреть, в чём там дело. Судя по всему, незадолго до моего прихода это место покинули рыбаки. Рядом с прорубью, цветными осколками жизни лежала мелкая рыбёшка, каждая похожая на причудливую сосульку, а сквозь корку льда были видны застывшие в ужасе глаза.

Честное слово, ребёнком я редко плакал, не то, что теперь. Но тогда, под впечатлением от выражения лиц мальков, буквально взвыл, и, рухнув на колени рядом с прорубью, принялся царапать ногтями прихваченную уже морозом воду. Я решил, во что бы то ни стало спасти рыбок, а так как под

³² лыжный ход

рукой, кроме лыж, у меня не было ничего, то в дело пошли именно они.

Свободный от наледи участок воды казался очень мал, но и рыбки были ещё детьми. Спеша, я пропихивал их сквозь прореху одну за одной, и едва последняя рыбёшка оказалась в воде, прорубь вновь затянулась льдом. «Зарастёт, как на собаке», – отчего-то вспомнились мне слова деда, сказанные им, когда я рассёк себе бровь о край колодца, засмотревшись на соседскую девчонку.

Покуда стекло льда было ещё тонким и прозрачным, прильнув к нему я подглядывал, как через окошко, за мальками. К счастью, жизнь и радость возвращалась в их глаза скорее, чем отставала шелуха льда. Они стряхивали с себя оцепенение и шепча неслышное порванными губами, исчезали в тёплой глубине. Я не ожидал от рыб благодарности, но всякий взмах хвостом каждой из них воспринимал, как рукопожатие.

Это может показаться чудачеством, однако мне казалось, что мы с этими рыбками ровесники, и оставить их умирать на ледяном подоле реки, это как если бы я бросил там кого-то из своих товарищей, – Лёвку или Серёгу. Ведь они, эти рыбёшки, так же, как и мы, ещё не видели ничего в этой жизни! И каши не поели вдоволь, и не понюхали порошу, – ничегошеньки из того, что причитается тому, кто появился на свет. А достались им только острый крючок, рывок, невоз-

возможность вздохнуть и холод, до самых рыбьих костей.

Путь домой мне освещала луна. Я довольно сильно устал и продрог. Идти даже по неглубокому снегу без лыж было тяжело, но мне было всё равно. Да и вырос я уже из них! Так отцу и скажу...

Интерес

– Да вы пейте чай, пейте, остынет.

– Не хочется.

– Не хочется ему... А надо!

– Ничего мне не надо. Вы меня простите, но я, пожалуй, пойду.

– И куда это?

– Так... Никуда. Поброжу.

– Вы уже, милейший, год, как бродите. Много оно вам по-могло?! Вы смотрите, какой вы сделали скучный, унылый.

Подле вас, вон, сливки киснут.

– Ничего с ними не делается, сметаной будут...

– Да с ними-то ничего, а вот с вами... Вам уже, похоже, доктора надо.

– Никого мне не надо. Отцу вон уже позвали... И что вышло?!

– Ах, оставьте! Все там будем! Забудьте!

– А что, так можно?! – не думать о прошлом, коли оно само напоминает об себе ежечасно. Высвободились некогда занятые отцом черты, обосновались во мне, – надолго, нет ли, не нам про то знать, – и теперь я ловлю себя на том, что слышу звуки его голоса, интонации, но уже из своих уст. Словечки, которые не произносил никогда, принадлежащие не мне ужимки, жесты. Знакомые, виденные не раз, отцовские... те-

перь они мои...

– Так вы их просто повторяете, батенька. Машинально! Бессознательно!

– Нет, это не то... Совсем. Изменилось и моё отношение...

– К чему?

– Да ко всему! Особенно к тому, к тем, чего и кого не замечал раньше. И знаете, кажется, теперь я смотрю на мир глазами отца.

– И как это?

– Странно, но больше страшно. Ибо мой собственный взгляд в будущее не достанется никому.

– Отчего же?

– На то имеются свои причины.

– Друг мой, я хорошо понимаю вашу тоску, но что ж поделать. Конечно, мы можем поплакать вместе, но разве ваш папенька был бы рад тому? К счастью, я был с ним знаком и хорошо знаю, чего желал он от жизни, чего искал.

– И чего же?

– Интереса! И вот ещё, к примеру, чай на столе для того, чтобы пить, а жизнь...

– ... чтобы жить?!

– Именно! Всё просто!

– «Проще пареной репы...», как говаривал мой отец.

– Ну, вот видите!... Давайте-ка ещё чаю, да погорячей, разогнать дурную кровь.

Пока мне меняли остывший чай на горячий, отрезали от пирога, придвигали мёд и подкладывали разных варений, я думал над словами хозяина дома и, честное слово, они странным образом утвердили отчасти мой дух. Ведь, коли бы не надежды моего отца на то, что я отыщу свой интерес в этой жизни, зачем бы я ему сдался тогда. Жил бы бобылём, и все дела.

Маленькими глотками...

Солнце, едва восстало ото сна, а уже при деле. Варит шов на стыке дня и ночи, с востока на запад, из-за чего брызжет расплавленными каплями, да не абы куда, а на другие две стороны света, дабы не оставить которую безо внимания, не обидеть тем, не обойти ненароком округ, не коснувшись хотя взглядом, не удостоив кивком.

Птицы в сей час, набравши порой предрассветного затишья побольше воздуху, как храбрости, сразу же принялись плести паутину из звуков, мешаясь тем пауку. Видимо-невидимо всяких разных струн с нитями, видимыми и невидимыми.

Выйдешь, бывало, зимою на крыльцо, гложнешь от тишины,хватишься за шёлковый конец единого её звона, потянешь к себе бережно, дабы не оборвался, не оставил сей трепет один на один с мыслями, с тревогою обо всём на свете, о своём в нём участии, как об участи и счастии.

Ну, а весной – там иная песнь, тесно в воздухе от птичьих закликух, не протолкнуться уху. Не то других – себя не слышишь, шумнёт кто – не разберёшь: кой отсель, а который издалёка.

А под весенний этот шумок...

Дубонос подбирает с земли семена очищенных полови-
дьем и дождями ягод.

Дрозд, овсянка и малиновка, нарочито не замечая сосед-
ства, селятся на ветвях одного дерева, друг над другом, слов-
но на этажах. А соловейка, как водится, занятый больше пе-
нием, нежели обустройством гнезда, стелится прямо так, в
траве неподалёку.

Будто знает соловей, что в этом мире всё ненадёжно, всё
преходяще, временно, и не к чему чересчур стараться над ве-
щественным, ежели можно просто воспеть эту жизнь и пить
её, прикрыв глаза, маленькими глотками, до самого дна.

Бабская любовь

– Раздели со мной радость! – Просит один, а другой сетует на то, что исчерпан лимит его веселий, и не ждёт его впереди ничего:

– Всякое уже было, ото всего отведало...

– И ведомо всё?

– Того, что на мою долю положено...

– Да откуда ты можешь знать?!

– Мне и не надо, чувствую. Если б не жена, лёг бы, и ... пропади оно всё пропадом, а иногда и её не жаль

– Неужто ей лучше без тебя будет?

– Ну уж не хуже. Молодая ещё, найдёт себе кого покрепче, поживёт.

– Себялюбец ты. Нехорошо это. Только об себе и думаешь.

– Как же?! Я от себя, от забот хочу освободить!

– А если она тебя любит?! Две головешки-то рядом дольше горят!

Как же она будет после?!

– Да не верю я в бабскую любовь. У них всё от довольства, от сытости. Покуда ты добытчик – будет тебе и привет, и ласка, а коли нет, со свету сживёт.

– Хорошего ж ты мнения о женском сословии. С таким-

то устоем тебе бобылём быть бестяглым, а не женатым.

—

Может, и так, да теперь уж не исправишь. Ты-то вот доволен своей? Хозяйка-то она у тебя не ахти какая, да и с лица не больно хороша.

— Так то кому как. Мне нравится.

— Ну, оно понятно, свыкся, всё одно — какова.

— Э... не скажи...

Прошло совсем немного времени, и тот, который соби-
рался пропасть, хоронил того, что отговаривал его, взывая
к благоразумию и любви к ближнему. Разглядывая за поми-
нальным столом вдову новопреставленного, он заметил, что
та не притронулась ни к кутье, не к блинам, ни ко клюквен-
ному киселю, а только прижимала к губам недоеденную су-
пругом горбушку, и целовала оставшиеся на ней следы от его
зубов.

Вот тебе и бабская любовь. Видать, бывает она, прав ока-
зался дружок-то, ох как прав...

С утра до вечера

Сумерки в рамке чёрных тонких лент туч над горизонтом. Словно застыли в одной поре. День скорбит об своём скором уходе. А округа, понимая, что это ещё не конец, дышит туманом, наполняя русла долгих оврагов кисельными, будто овсяными реками.

В эту пору – всяк попарно. Одинокий вызывает об своём невольном сиротстве молча, с растерянным выражением, мол, – как же так-то, почему все мимо, неужто я так дурён. И милуются парочки, не стыдясь его недоумения. Не до него им, не до себя даже. Мил-друг нынче дороже отца-матери и всей прочей родни до седьмого колена. И тут уж – склонности одни, хозяйство общее и детки, а там – как пойдёт. Кто вместе навсегда, а иные не дольше, чем до набриолиненных морозом луж.

Но это для вернувшихся самый разгар, а те, которые посмотрели всю, до последнего листочка книгу осени и грелись на чердаке, пачкая оперения в жирной пыли подле печной трубы, те пташки ранние.

Витютень³³, к примеру, уже попрос и под напором сурового бати впервые покинул плоскодонку гнезда. Вернулся он

³³ крупный лесной голубь,, вяхирь

только под вечер, да нервный, как бы не в себе. Видно, думал молодой голубок, что гнездо и ветви рядом – это весь мир, а оказалось, что тот велик, куда как больше его представления о нём.

Сириус, посеребрив усы и надвинув поглубже голубое кепи, разделял волнения юного голубя, и вспоминая себя молодым, да ярким³⁴, грустил о временах, когда повелевал разливу Нила или будил в Сенеке³⁵ поэта, а после ложился у порога ночи, как и полагается верному псу³⁶, дабы уберечь её от посягательств рассвета до известного часа, когда уж можно будет открыться нараспашку и дню.

³⁴ Сириус в древности называли красной звездой

³⁵ римский философ и поэт

³⁶ Сириус находится в южном созвездии Большого Пса

Илья

– Присаживайся, пожалуйста!

– Спасибо. Как только вы захотите спать, скажите мне, и я сразу заберусь к себе на вторую полку.

– Хорошо, договорились! – Пообещал я, но несмотря на утомление, небольшую простуду и поздний час, сумел побороть сонливость, словно понял, что не смогу после жить спокойно, если не поговорю с этим ребёнком, который в одночасье сделался мужчиной.

– Ты туда, воевать? – Спросил я тихонько, и мальчишка кивнул:

– К сожалению, да.

– Спасибо тебе. – Горячо поблагодарил я, протянув руку для пожатия. Ладонь мальчишки была ожидаемо тёплой, и неожиданно крепкой, надёжной.

Он едва заметно улыбнулся, оценив мою искренность и порыв, но с едва заметным сожалением сказал:

– Так думают не все.

Я покачал головой, соглашаясь и недоумевая, одновременно:

– Третьего не дано!

Но мальчишка промолчал.

Я лихорадочно искал способ исправить создавшуюся неловкость, пошарил глазами по сторонам, и заметил, что не хватает комплекта постельного белья.

– Оно ваше. – Успокоил меня мальчишка. – Я посплю и так.

– Что ты, ни в коем случае, мало ли кто лежал на матрасе до тебя!

– Это пустяки, – пытался уверить мальчишка, но мне казалось, что самое малое, чем могу выказать поддержку, это уложить его поспать на чистом, в тепле...

Когда проводник принёс постельное, мальчишка улыбнулся одними губами:

– А вы волновались. Видите. принесли.

Мне хотелось как-то разговорить его. Не для чего-то, не для себя, для него самого, так как сдержанность парнишки немного походила на отрешённость. Наскоро разбросав карты возможных тем, я нашёл среди них ту, единственную, понятную всем:

– Как твои родители? Справляются?

– Я еду с похорон отца. – Просто ответил мальчишка, а мне, к несчастью, было чем ему ответить.

– Как я тебя понимаю... Ровно год назад я тоже потерял

отца, и, знаешь, всё это время, днём казался почти что весел, а наутро подушка была насквозь промокшей от слёз.

После этого нам стало легче смотреть друг другу в глаза. Мы поговорили о пустяках, про собак, и о том, что для всех прочих в вагоне, как бы ничего не происходит, они живут без оглядки на страдания незнакомцев, и шаркая чистыми пятками по тёплому полу, отправляют дочерей на Бали, а по вечерам поднимают гантели, дабы мясо мускул наполнилось кровью и стало ещё более рельефным.

И так хотелось сказать им всем, что они ничего не понимают про Родину только потому, что она у них есть, но лишь до той поры, покуда есть на белом свете такие мальчишки, которые отпускают мамину руку, и берут оружие в свою.

Прощаясь, я спросил:

– Как тебя зовут?

– Илья.

– Возвращайся живым! – Попросил я, ибо иного пожелать ему не мог.

Москва у каждого своя...

Москва... Что это за город? Для кого он? Чей? О чём думает, когда едет в метро и следит за шуршанием серой змеи тоннеля за окном? Что снится ему, в ту беспокойную минуту, когда дворники сквозь дремоту дожидаются, наконец, тихого сухого щелчка пальцев, что издаёт будильник, прежде, чем прозвонить?

В авоське крыши ГУМа колышется небо. Облака не держатся в ней и бегут, как закипающее молоко. И хоть дуй на него, хотя сгоняй жар холодной ложкой или хватай, обжигаясь, с огня, – всё одно сбежит.

Из переулка Москва пахнет мокрым асфальтом, и через раз чихает тройным одеколоном. То обросший за лето мальчишка решил удивить товарищей, и на вопрос мастера:

– Как вас постричь, молодой человек? Бокс? Полубокс? Польшка?

Ответил гордо, даже с вызовом отчасти:

– Под Котовского!

За что и получил пять граммов одеколona из автомата с зеркалом на всё окошко.

В Богоявленском соборе ударили к заутрене. Встревоженные колокольным звоном чайки покинули уют пыльных чердаков близстоящих домов. Простуженные их крики, как проклятия сыпались с неба на землю, но это продолжалось недолго. Чайки пугливы, да не злопамятны, и скандалят больше для порядку, нежели от сердца.

Через открытое окно одного из домов видно, как, сидя за маленьким квадратным столом, завтракает небольшая семья, – двое детей и родители. Дочка льнёт к матери, обритый наголо сын, кажется, держится особняком, но с обожанием поглядывает на отца, а тот, ласково подмигивая жене, многозначительно декламирует:

– А пшёнка-то сегодня не на молочке-с!

Супруга, кивая красноречиво в сторону детей, горестно воздевает брови к пробору, разводит руками, и встряхивая перманентом, спрашивает нарочито бодро:

– А кому добавки?!

Женщина заметно бледна. Чтобы оставаться привлекательной для мужа и, в тайне от него, она крадёт время у сна, дабы заплести много-много мелких косичек, и получить к утру ту прелесть мелких кудрей, столь притягательную для мужчин в военной форме.

Не зажжён покуда Вечный огонь от факела, привезённого с Марсова поля, и не стоят ещё у стены Кремля в Александровском саду люди, переговариваясь тихо, как подле могилы родича, погребённого минуту назад...

Москва у каждого своя, но она одна, на всех одна.

Земля

Расплавленная игла рассвета прошивает строчку ровно по сосняку, продевая нитку промежду ровными его рядами. Притащав сосновый лес крепко к дороге, так и не подняв головы от работы, с затёкшей шеей и ноющими опущенными плечами принимается стегать тонкое одеяло из ткани неба, плотно набивая его облаками. Часть небосвода нетронута и обведена тонкой чертой белой тучи, как мелом, видно будет ему для чего-то нужна. А кому? Всё тому ж рассвету.

Шёлк ветра опрыскан духовитым запахом яблок. Не толстокожих и скрытных зимних, но летних, – наивных, нервных, с тонкой кожицей цвета молодого салата и серыми веснушками, больше похожими на крошки приставшего пепла. Их, яблок, ещё нет, яблоня не обзавелась даже листвой, но чудесным образом, то ли из прошлого лета, то ли из будущего, просочился этот вселяющий радость и тоску по детству аромат.

Сложенные зонтики сосен стоят, словно на продажу, а над ними, неожиданно грациозно, летит цапля. Успешно сокрыв от посторонних глаз свой тяжёлый разбег, теперь она рекомендует себя изящной и невесомой. От реки до родного болота всего ничего, крылом подать, но цапля растягивает блаженство полёта, нежась в розовых простынях утра, и не за-

ботится покуда ни о чём. Птица умеет сплавляться по течению бытия, но позволяя ему владеть собой, сохраняет целостность собственной воли, отступая временами в сторону, дабы понаблюдать за происходящим с другими. Поспешность не в её характере, отнюдь.

Штакетник рогоза, что врос оградкой на берегу реки, по пояс залит половодьем.

Сытый землёй пригорок шевелит белыми усами поросли берёз. Она будто вымазана в сметане.

Земля, как мать, скрывает непорядок от недобрых, полных злорадства глаз, не позволяет проявить себя и дождю. Его видно только на глади мелких болот. И от того мягкая губка почвы всего лишь сыра, как сдобный пирог, кой вынут из печи только что и остывает под чистым полотенцем, в окружении весёлых, справных, но вечно голодных ребятишек...

Дорожное

Я в дороге. Люлька вагона мерно раскачивается, баюкая мои страхи и совесть. Вид из окна, раскручиваясь бесконечным ковром, приятен и неустомителен в однообразии своём.

Праздный, но неподдельный интерес вызывают любые строения. За мгновения, что они остаются на виду, запоминается из очертаний главное, некие мелочи, которые задерживают их в памяти не просто виденными однажды, но понятыми. Раз и навсегда.

Из замеченных, особенно запомнился объединённый временем дом красного, выцветшего кирпича. Он отличался от прочих, похожих, чувством, с которым был некогда возведён. Заброшенный, поросший травой, под вуалью дикого винограда, он не утерял и доли той любви и радения об себе, что могли бы кануть в Лету вместе с людьми, чьими чаяниями он оказался тут, на краю смешанного леса. Радость жизни просачивалась солнечным светом сквозь его ровные арки лишённых створок дверей и занавешенные паутиной оконные проёмы. Чудилось даже, что дом по сию пору обитаем, а из круглого окошка чердака вот-вот покажется детская рука с голубем, и тот взлетит, похлопав крылами по ладошкам или щекам.

Хотя дом скоро остался в прошлом, он не сразу отпустил от себя и невольно увлёк за собой, так что я, пускай ненадолго, ощутил себя мальчишкой, и припомнил, как ездили мы с дедом из Загорска в Симферополь к бабушке, а по пути оседали на Арбате.

В дороге дед с удовольствием возился со мной. Кормил купленными в Елисейском магазине колбасами и ветчиной, нарезаая их на толстые лоскуты, а к чаю выуживал из чемодана коробочку сливочной помадки.

Дедушка по со раз на дню втолковывал мне разницу между локомотивом и товарным поездом, делая зарубки на моём носу, так что я запомнил на всю жизнь: если у поезда большие колёса, то это локомотив, а если маленькие и их много – то это товарный.

На больших станциях паровоз отцепляли, дабы долить в него воды. Он шипел, как огромный чайник, когда из большой г-образной трубы толстой струёй в него заливалась вода. Обыкновенно это бывало на крупных станциях: в Курске, Запорожье... Пока рабочие досыта поили железного коня водой, дед водил меня по перрону туда-сюда, не жалея сизых от подагры ног, и рассказывал «из жизни» и «про войну».

Но то в дороге, в Москве же я был обузой. Чтобы не тас-

кать мелкого за руку по магазинам, дед поручал меня тётё Тасе, которая жила на Арбате. Она была одной из тех самых арбатских старушек, – отзывчивых, трепетных, с постоянно виноватым выражением лица над облачком белого кружевного самовязанного воротничка.

Тётя Тася, с утра до обеда и с обеда до вечера, служила в школе. Перекусывала приторными пирожками с повидлом, жареными на тёмном от многократного употребления постном масле, запивая их подкрашенным содой чаем, отчего маялась несварением и изжогой.

Помню, как однажды тётя привела меня за руку в класс, где усадила на заднюю парту, дабы не мешался, но был на глазах.

Я тарасился по сторонам, как птенец. Непроливайки, промокашки с чернильными кляксами, ранцы, перья, точилки... От переизбытка впечатлений я буквально оглох, куда, сквозь пелену волнения, как сквозь шум летнего ливня, до меня не донеслись слова тёти Таси о том, какие все ребята молодцы, кроме Вити Огурцова, который, мало того, что шалит на переменках и задирает соучеников, так ещё опять не справился с заданием и получил «двойку».

Оглядевшись по сторонам, я заметил круглоголового мальчишку, который зло смотрел на меня исподлобья. Он

видел, как тётя Тася вела меня за руку, и не смея открыто дерзить учительнице, насупился в мою сторону.

«Ах так», – В свою очередь рассердился я, и довольно громко, язвительно, – ну, как сумел, прошептал:

– Огурец!

Щёки Вити сравнялись по цвету с его огненно-рыжими, почти красными волосами, и больше не таясь ни от кого, потряс внушительным кулаком в сторону учительницы, а уж затем и в мою, обещая скорую и неминуемую расправу. И... я так напугался, за нас с тётей Тасей, в первую очередь за неё, что расплакался, прямо там, на глазах у всех. Да... было дело, виноват.

...И вот теперь, спустя годы, я ехал в поезде и пусть не мог рассмотреть жемчугов дождевых капель на траве, но знал, что они там. По опыту, что приходит вымокшему в струях течения жизни человеку. Стук колёс, конечно, мешал слышать пение лесных птиц подле железной дороги, а вот низкий рокот ненависти младшеклассника Вити Огурцова, теперь разобрать было очень легко, столь неподдельной искренней злобы заключалось в нём...

Отвернувшись от окошка, я обратил внимание на соседа по купе. Круглолицего, бритого налысо, с рыжими, словно ржавыми бровями, которые выдавали цвет его волос.

– Простите... Вы, случаем, не Виктор? Не Огурцов?! –

Наобум поинтересовался я.

– Так точно. – По-военному отрапортовал тот. – Прошу прощения, запомнил...

– Я племянник тёти Таши, вашей учительницы!

– И как она? – Из вежливости поинтересовался Огурцов, он явно не помнил ни меня, ни тёти.

– Тёти уже нет. Сгубили её школьные пирожки.

– Не понимаю... – Ослабился Огурцов.

– Да, неважно. Какая теперь разница. – С досадой о собственной, не к месту, болтливости отмахнулся я и полез на вторую полку.

Заварка сумерек, разбавленная кипятком заходящего солнца, всё ещё позволяла рассмотреть, что там, за окном. И до наступления темноты, мне хотелось застать врасплох ещё один старый кирпичный дом, похожий на предыдущий, чтобы вновь почувствовать себя ребёнком, и не расплакаться, как тогда, а стукнуть Огурцова хорошенько по носу. Чтобы запомнил: и меня, и свою учительницу, мою тётю Тасю, тихую старушку с Арбата.

Тряска колыбели вагона сморила быстро, и по неглубоким водам чуткого в дороге сна прошагал, расплёскивая на стороны грязную воду, алый от ярости, ещё не лысый Огурцов; следом, укоризненно качая головой, бочком семенила в галяшах по краю всё с тем же виноватым лицом тётя Тася; по-

следним в дремоту залетел голубь, тот самый, что выпорхнул на медни из круглого чердачного окошка. Он тронул мою щёку крылом, и проговорил:

– Вставайте, гражданин! Через тридцать минут ваша станция! Туалет ещё открыт...

Про то...

Шмель дрожал подле цветка, как язычок колокольчика, задолго до следующего удара, то есть – почти сразу после предыдущего.

Червяк, тот что сродник дождя, потянулся, зевнул и разлёгся поперёк дорожки, как на ширину лавки, – не ступить, не перешагнуть, – тянется, худея на глазах, не пускает пройти. Ну и остановишься, не станешь перечить, мало ли, что там, впереди. Может, кому туалет поправить надобно, вон как все наряжаются: и лес, и поляны. Сосны с елями – те вечно в зелёном, и то выют аксельбанты почек, украшают себя, как умеют.

Бабочка-голубянка, распротившись с приютившими её на зиму муравьями³⁷, поблагодарила за хлеб да соль и выбралась на свет. Хотя и красива бабочка, а скромна. Летит низко, перебирается с травинки на травинку, сходством с небом, будто подобием, не хвастает, ибо не доблесть это, а служение – не обронить достоинство в пыль, не замарать ничем.

– Кроме, пожалуй, природе пока похвастать особо нечем.

³⁷ личинка голубянки зимует и питается в муравейнике

Большая часть перелётных птиц ещё по пути на Родину, а той, что уже здесь, не до песен, сами посудите, – семья, хлопоты, тревоги про всех.

Мало хорошего человека не упустить, доказать, что и сам не плох, ты попробуй ещё обзаведись потомством, выкорми его, вырасти, выучи премудростям житейским, да той, самой главной мудрости, про родной край, о которой все не говорят, ибо на родителей глядя приходит это понятие, само по себе.

– Где птица, а где человек...

– Так вот и я про то.

Слон

Месяц плакал недавно. Первая же из скатившихся слёз застыла подле него Венерой. И сверкает ныне она на шее неба, как бриллиант с тонкой, невидной глазу цепочке.

В центре большого города живёт слон, он ступает неспешно по бетонному полу своего жилища туда-сюда и грустит. Ходит слон тихо, кажется даже, что круглые его ступни обуты в валенки. Уютно глядеть на его ловкие шаги, впрочем, самому слону не до неуместной чувствительности. От тюка сена, выданного ему поутру, осталось совсем немного. Так, безделица, – припудрен пол веточками, словно и не еда это вовсе, а сор. Не рискуя оцарапать нежную ладошку хобота, подбирая сухие травинки, слон осматривается, кружась на месте, покуда не замечает палку, лежащую в углу. Зачем она там, и как давно, слон припомнить не может. Пауки, некогда сочтя палку своей, наткали промежду ею и стеной довольно белого полотна. Да что слону до того, – дунул разок-другой, и разлетелись пауки брызгами на лоскутах паутины, будто на парашютах.

Завладев деревяшкой, слон внимательно осмотрел её, стряхнул остатки пыли, как температуру с градусника и уложив палку у ног, принялся толкать перед собой, собирая ею,

словно шваброй, сено в небольшие кучки, аккуратно и не без умысла обходя свои собственные. Дело спорилось, и набравши то жменю, то горсть, слон отправлял пучки травы в рот и жевал их неспешно, с обстоятельностью гурмана. Казалось, он ищет в прочахлой на воздухе траве то, чего там не может быть, – свежести, капель зелёного сока, муравья, который с криком «Полундра!» спешит покинуть палубу узкого листочка.

Когда палка перестала задерживать редкие травинки, слон ощупал со всех сторон своё орудие, и направился к огороженному углу, за которым уборщик оставил своё. Дотянувшись палкой до ведра, слон обнаружил, что оно пусто, и провёл деревяшкой по прутьям, прислушиваясь к тому, как они гудят. Точно так обыкновенно поступают мальчишки, когда бегут на зов матери обедать домой.

Слона никто никуда не звал, предоставленный самому себе большую часть дня, он размышлял о прошлой жизни или наблюдал за той, к которой был теперь приговорён. Нужно ли удивляться, что слон сделал единственное, что сумел. Удерживая палку хоботом, он помусолил её во рту, и уже мокрой попытался собрать уцелевшие от предыдущих стараний травинки.

Довольно скоро бедняга осознал тщетность своих усилий, и продев палку между прутьями, переломил её с досады од-

ним лёгким движением. Так ухарски трещат ветками те же ребяташки, прежде чем разжечь костёр, для того, чтобы после испечь картошки в золе.

Слон стоял, рассматривая сломанную ветку, лежащую у его ног. Здесь, взаперти, где из-за настоящего на густом терпком запахе слоновьего помёта воздухе приходящие брезгливо морщили носы и спешили уйти, ветка оказалась едва ли не единственным его товарищем.

Размазывая по щекам холодные слёзы дождя, рыдало под потолком глухое окно, а совсем рядом, за стеной, под свист крыл гуси играли друг с дружкой в салочки....

В центре большого города грустил слон...

До следующего раза...

– Судя по тому, как он ходил мимо окон всю ночь, у него опять бессонница...

– Да... С этим надо что-то делать.

– А что, помилуйте! С этим ничего невозможно сделать! Характер, понимаете ли, таков. Уж, кому что на роду написано...

– Но ведь совершенно невозможно спать под это его хождение! Он не понимает, что людям завтра рано вставать.

– Конечно-конечно, впрочем, мне он не мешал...

– Вам повезло! У вас крепкие нервы или доктор выписал хорошие капли?

– Не знаю... Я, конечно, принимаю на ночь немного брома, как велит супруга, но, полагаю, дело не в том.

– Во-от! Не скажите! Именно в этом! А мне пришлось страдать, рассматривая потолок, ибо этот ваш, возился с чайною посудой, мыл её что ли, задевал коленями мебель, двигал по полу стулья...

– С чего это он мой?

– Так коли вам от него ни холодно, не жарко, то чей же ещё? Ваш, конечно!

– Ну, пушай, допустим. Но разве он заходил в дом?! Не

водилось за ним такого никогда... И собаки смолчали...

– А кто говорит, что входил? Вовсе нет. Он хозяйничал на веранде и в беседке, благо двери с окнами там повсегда нараспашку, добро пожаловать, кто пожелает, в любое время дня и ночи.

За неспешной беседой не заметили, как предмет удалился. Он покинул их, оставив после себя непогашенной лампу луны и не подведённые ходики капли. Совсем скоро их пружина вовсе обмякнет и перестанет отсчитывать время... до следующего ночного дождя.

Неизбывное

– Ха! Розовые сопли! – Ухмыльнулся редактор, и я впервые взглянул на него поверх розовых очков, через которые обыкновенно рассматривал мир и людей вокруг. Оказалось, что передо мной довольно-таки противный тип.

Лисья морда, милая, ежели она принадлежит хищному млекопитающему из семейства псовых, придавала человеческому лицу нечеловеческие, худшие из звериных, черты. Во время словить нужное направление ветра и схитрить, промолчать, чтоб «сойти за умного», убедить в том, что собственное намерение было таковым задолго до...

– Прекрасно. Я больше в этом участвовать. Газетное дело изменило себе, стало по сути недостойным ремеслом.

– Это только потому, что я отказался поставить в номер материал?

– Про любой другой я бы ещё подумал, но только не про этот.

– Напрасно. Сейчас с работой непросто.

– Как-нибудь проживу. Зато совесть будет чиста.

– Учти, я не стану уговаривать тебя остаться!

– Да я на это и не рассчитываю. Тем более, люди, про которых писал, поверили мне, а теперь выходит, что я подвёл

их, солгал, а врать мне не нравится, не умею и не люблю. Счастливо оставаться! – Добавил я напоследок.

Так вышло, что в редакции не хранилось ничего из моих вещей. Всё, что необходимо, – блокнот, ручка, диктофон и фотоаппарат, умещались в небольшом рюкзаке. На стене кабинета, где проходили планёрки, вместо картины, висела фраза из моего репортажа, что-то там такое про «локотки волн» семьдесят вторым кеглем. Автором художества была ответсек. Криво ухмыляясь, она указала однажды на стену с импровизированной картиной, где решила увековечить моё высказывание, сочтя фразу смешной и глупой. Но я лишь пожал плечами. Сравнение мне нравилось, ибо я любил море во всех его проявлениях, посуху ходил, как по палубе – слегка раскачиваясь, а в слове компас ставил ударение на второй слог.

В общем, после того, как дверь редакции захлопнулась за мной в последний раз, я почувствовал некое облегчение. Идти по болоту и не увязнуть в трясине, то ещё искусство. До сего дня мне удавалось сохранить собственный ритм заметок и очерков, а значит и достоинство. Худшее, что могло произойти, это если бы редактор изменил текст, перекроив его по своему усмотрению, и подписал моим именем. Поди тогда, разбирайся, доказывай, что ты тут не причём.

А я был сопричастен! В той, неопубликованной заметке,

подробно описал марш матерей ребят-срочников, погибших в мирное время. Среди тех, кто нес портреты погибших, шли не только матери, но и отцы, и невесты, точнее вдовы, не успевшие стать жёнами. Последние вели за руку малышей, а матерям, чьи сыновья решили «обождать до свадьбы», было особенно тоскливо смотреть на ребятнишек. Не понянчиться им теперь, не потешиться на старости лет с родными внуками.

Узнав, что среди присутствующих газетчик, родители погибших подходили по очереди, и сменяя друг друга, дыша через раз, спешили поделиться своим горем. Каждому хотелось поведать о своём ребёнке, о любимом мальчике, жизнь без которого потеряла смысл, остановилась в тот миг, когда перестало биться сердце сына.

Дольше всех, до самого окончания марша, рядом шли супруги. Они оказались единственными, кто не пытался заговорить, но их облик был куда красноречивее всяких слов. Густые волосы женщины, словно выкрашенные в белое, обрамляли безжизненное, бескровное, без единой морщины лицо, отрешённое, пугающее выражение супруга, тяжёлая, грузная походка обоих, и главное, – как сторонились они друг друга, как пугались случайного прикосновения, когда мотало их из стороны в сторону от слабости.

Тридцать лет прошло, а я помню глаза всех этих людей,

общую, одну на всех гримасу страдания, и боль, избыть которую невозможно никому и никак.

– Даже времени?

– В том числе и ему...

Летучая мышь

Сумерки забавлялись тем, что запускали в воздух самолётики летучих мышей, очень похожие на бумажные, но не из выбеленной граматки³⁸, а настоящей, грубой, той, что по цвету нечто среднее между пюсовым³⁹ и половым⁴⁰.

Стремительно и беззвучно, на манер падающих метеоритов, черкали летучие мыши залысины неба, и исчезали, сливаясь с рамой леса, черневшей по краям.

Более опасливые граждане спешно сдёргивали шейные платки и прятали поглубже в карман, прочие останавливались и, задрав голову, разглядывали рукокрылых на просвет, безошибочно угадывая даже еле заметный крючок большого пальца, а не только те, длинные, которые растягивали лоскут крыла.

- Ты это, осторожнее, а то как бы не вышло чего.
- Чего это?
- В волосья как вцепится...
- Не вцепится, небось.

³⁸ папера, бумага писчая

³⁹ бурый

⁴⁰ бледный жёлто-коричневый

- А ежели? То чего тогда?
- Да ничего! Ты, коли страшно, иди-ка в дом.
- Ну, а ты?
- Я ещё погожу, погляжу. Красиво же.

Притомившись стращать зевак, к досаде поклонников всего изящного, летучие мыши направили свой полёт подальше от назойливого внимания, туда, где приятная сырость ласкает кожу, к пруду, чья поверхность сплошь усыпана лепестками цветов вишни, как крыльями белых бабочек, что упорхнули, переодевшись в новое подле зеркала воды.

Летучая мышь, это вам не театр миниатюр⁴¹, далеко не улетит.

⁴¹ русский театр миниатюр, возник в 1908 в Москве из пародийно-шуточных представлений – "капустников" Московского Художественного театра. Руководитель Н. Ф. Балиев в 1920 с частью труппы эмигрировал

Ходики

Не достучавшись в окошко, шмель плюнул с досады и улетел. Впрочем, вскоре вернулся и принялся гудеть, упираясь головой о стекло. Изумлённый выходкой обычно миролюбивого и спокойного соседа, я вышел поглядеть, что же так расстроило его, для чего звал он меня столь настойчиво и усердно.

Прямо с порога на меня обрушился водопад птичьих голосов, да с такою силой, что пришлось отступить назад, к спасительной двери, за которой по всё время с осени до сей поры было привычно тихо.

Иной громкий звук в доме казался непристойным, неуместным, чрезмерным, а для одного томящегося в четырёх стенах и вовсе непозволительным.

Тон моей размеренной жизни задавали старые ходики, чей простуженный бой расстроился ещё в прошлом веке, так что я не мог уже даже припомнить его мелодии. Кажется только, бабушка морщилась из-за него всякий раз, будто от зубной боли, а дед, воскликнув: «ЧертовА!» отправлялся за чем-нибудь ненужным во двор, громко стуча ногами. Ходики были испорчены намеренно или ответили тем на непонимание их музыкальной темы? – то не задержалось в моей памяти. Знаю лишь, что, не в пример взрослым, блаженная

улыбка озаряла моё лицо при первых звуках колокольчиков, сокрытых в глубине механизма.

Теперь, когда я и сам стал немножко старым, догадываюсь, отчего дед с бабой так нервничали тогда. Часы топтались подле их жизни, словно подгоняя к её завершению, да и четверти они били не абы как, но с оттяжкой, будто розгами.

Во мне самом, шарканье минут и заикание стрелок отзывались совсем по-другому, скорее всего, именно от того, что не могли быть ничем, кроме как напоминанием о детстве.

Помимо тиканья, другим разрешённым беспорядком в моём доме была закипающая в чайнике вода. Её возмущение я был готов терпеть любое количество раз в течение дня. Ну, а неизменное стенание пламени в печи, разумеется, за помеху сойти не могло никак, ибо с возрастом мне, как и многим до, перестало хватать собственного тепла.

И вот, такой неожиданный случай. Этот весенний шмель, наскучив унылым моим видом и порешив покончить с ним, вызволить из добровольного заточения, стучался в окошко, перебрав цветочной пыльцы, как храбрости. И едва я вышел, но испугавшись обилию звуков, что содержал простор, попытался даже бежать от него, был остановлен всё тем же шмелём.

Неведомым, невиданным мне порывом, он принудил птиц умерить свой пыл и шуметь не враз, отчего, сам не понимая как, я помаленьку начал различать голоса. Направляя взор туда, откуда струилась мелодия, примечал исполнителя, различал и мотив, и нарисованную им картину. Но которая из птиц не вступала бы после предыдущей, в каждой я находил малую каплю от того колокольного перезвона, что чудился в детстве возле ходиков, перед тем, как те прочищали горло, дабы спеть.

Жизнь течёт и вблизи хода часов, и вдали от них. Но пусть уготованный нам испуг поджидает за очередным их ударом, не станем торопить его, он явится и без того, в свой, известный ему одному час.

Судьбе в угоду

– Ты гляди, какво великолепиие! Солнышко ещё не укрылось за лесом у горизонта, как за тенником, только-только принялось палить его край, а напротив него, уже показалась луна. Полупрозрачная, как обмылок с острыми краями, которым обводят по выкройке, когда шьют для господ, дабы не портить штуки холста, пачкая его мелом.

– То ночь оставила на небе след. Что ли руки были в муке?..

– Ну, так лишь бы сердце не в мУке. Отзывчивый сострадает не шутя, позабыв об себе, по всему округ.

– Собой бы лучше занят был, и то больше пользы.

– Всё б тебе ворчать! Когда другими озабочен, до себя дела нет.

– А вот это вовсе не годится. Себя надобно беречь, каждый для чего-то, недаром, неспроста.

– О... Завёл шарманку! Да как узнаешь, на что годишься?! Сродники от своего дела не отпустят, не для того плодились, а чтобы облегчение сделать общего труда, да на старости лет было кому хлеба подать, ковш воды, ну и глаза закрыть, когда время придёт.

– Тебя послушаешь, выть хочется. Оно понятно, что у родни своя корысть и заботы, так кто послабже характером, пущай подле семейства и трётся, а которому свобода дороже,

тому почёт. Сумел, значит, не посрамил судьбы.

– Ладно, пора мне, да и тебе тоже, не до ночи же нам тут с тобой лясы точить.

Кликнув собакам, разобрали мужики каждый своих коров, да разошлись по разные стороны. Они были родными братьями, но только один пас своё стадо, а другой, что ушёл парнишкой на вольные хлеба, собирал его по дворам и получал подённо с каждого. Потрафил он судьбе или наоборот, судить не возьмусь, со стороны виднее.

Некстати

Аист с клювом в пол-аршина⁴² или в половину шага вольного человека степенно, в обе стороны прохаживался по дороге у болота, словно поджидал кого. Опасаясь его не напугать, но спугнуть, я остановился. Завидев же меня, аист перестал ходить, и подобрав из травы намеренно припасённую лягушку, вялую от ужаса, длинную из-за того, подбросил её в воздух и проглотил одним махом.

После он не шурился дерзко в мою сторону, не притворялся, что дорога совершенно безлюдна. Казалось, он уже проделал то, что намеревался, а сочтя миссию выполненной, пережил краткую неловкость непростого разбега и полетел. Легко, непринуждённо, с достоинством, неким явным проявлением отстранённости от земных загадок и сомнений.

Глядя аисту вослед, я, как показалось некстати, вспомнил, что недавно видел непоправимо искалеченную людьми змею. На мой вопрос «Зачем?!», они хохотнули победно:

– А она лежала на солнышке, грелась, так мы её лопатой, лопатой!

И столько злорадства было в тех словах...

⁴² аршин равен 0,711 метра

Лишённая всякого смысла жестокость ужасает. Вынужденная – и та приносит немало страданий, а эта... Как справиться с нею? Как уберечься и добиться неповторения !?

...Во вмятину луны набралось довольно серебряной росы, как дождевой воды в след от копытца. Окажись подле той блестящей лужицы змея, напилась бы она вдоволь, улеглась бы на чистом, выбеленном солнцем камешке, и никто б ей не причинил никакого вреда.

ХитрО...

Простывший где-то на северах ветер делился холодом с округой, ныл капризно, да сдувал цветы вишнёвых деревьев, словно огонь со свечи. Но ежели пламя обыкновенно сдаётся не разом, а вращая в фитиль держится за него до последнего, то цветы не видели пользы в своём упорстве. Они сделались вялы, ибо ветер лишил их большей части нектара, как жизни, и в пустых их ладонях шмели, пчёлы и осы не отыщут уже ничего.

Из-за метели белых лепестков, поседевшая не ко времени окрестность казалась в сумерках покрытой снегом, а присевший перед окном серый снегирь почудился слетевшим с наспех, криво вырванного календарного листа, так что не разобрать на нём теперь ни года, ни даты, ни праздничный нынче день, либо будний.

Скрипя крылами, как ветер створкой двери, к закрытию дня спешила на болото утка. Заполосный её крик спугнул снегиря, невозвратно испортив картину. В чёрно-белой её палитре всего было поровну, и каждый отдавал выделял для себя цвет, подстать своему, глубинному, что неизбежно вы-

давало характер и свойство⁴³, но не как особенную черту, но вынужденное родство.

Однако... Стынут души на ветру. Вот оно как хитро...

⁴³ Отношения между супругом и кровными родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов, возникающие из брачного союза.

Маца...

Ни в одной из статей про известных советских хоккеистов, братьях Майоровых не упомянуто про то, что они были учениками школы номер четыре города Вильнюса. Той самой, которая получила имя молодого генерала, Ивана Даниловича Черняховского. И не рассказывали знаменитые хоккеисты, как стояли они, насупив брови, в тот день, когда приехала к ним в школу, на открытие памятника мужу, поседевшая в одночасье вдова героя, и отстранившись от тесной толпы, зябла в нервной горячке, опустошённая навечно. Рыдая горько и беззвучно, не выпуская руки дочери из своей, она нисколько не смущалась несчастным своим видом. Ну, а с чего ей было б стесняться теперь? Кого?!

Там же, среди учеников школы, находился и Эдик Марцевич⁴⁴. В ужасе от очевидной скоротечности бытия, он невольно приник к несокрытой правде жизни, как к реке, поленьи, на коленях, и после, в актёрстве своём не был вполне лицедеем никогда, скорее сострадальцем. Та, перенесённая на ногах боль, заледенела в его глазах невыплаканными слезами...

⁴⁴ Эдуард Марцевич. Советский и российский актёр театра и кино, педагог. Народный артист РСФСР. Член КПСС с 1967 года

Отчего мне ведомо это?! От отца, что стоял тринадцатилетним в том же строю, крошил зубы в бессилии и жалости к красивой вдове генерала и его дочери.

И всё, что было до того дня, показалось таким пошлым... Ночёвки на кладбищах Вильнюса на спор с ребятами, – Борькой, Женькой⁴⁵ и Эдиком, – лазанья в подвалы, чтение книг захлёб... даже то, как собирали они диковинные марки, сдирая их с открыток, найденных в сумках висельников, немцев, а после забегали пожевать вкусную мацу, пресные еврейские лепёшки, которые пекла мама и бабушка однокашника.

Для чего школам дают имена героев? Ну, не для одного ж красивого слога! А для чего – о том молчат. И канет несказанное в Лету, и будет позабыто многое из того, о чём не помнить нельзя.

Сдержанные мальчишками, невыплаканные слёзы цепляют заусеницами за душу, рвут сердце, напоминая людям, какими они должны быть.

– Не пиши, о чём не знаешь. – Сказал бы отец.

Ну, а кто сделает это, если не я?! То-то и оно...

⁴⁵ братья-близнецы Майоровы, советские хоккеисты